

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ

Убиты под Москвой.
Крик. Повести



Библиотека Всемирной Литературы

Константин Воробьев
**Убиты под Москвой.
Крик. Повести**

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Воробьев К. Д.

Убиты под Москвой. Крик. Повести / К. Д. Воробьев — «Эксмо»,
2020 — (Библиотека Всемирной Литературы)

ISBN 978-5-04-109893-3

В книгу вошли лучшие повести К.Д. Воробьева (1919–1975) – писателя сложной судьбы несмотря на то, что каждое слово писателя «кричит о человечности, о достоинстве, о силе и милосердии» (Дм. Быков). Честно отобразившие жизнь деревни в период коллективизации, события Великой Отечественной войны повести писателя автобиографичны. Прожитые самим автором, выстраданные, они описывают события глазами очевидца, пережившего коллективизацию еще юным, участвовавшего в боях под Москвой зимой 1941 года, попавшего в плен, трижды бежавшего из лагерей, в третий раз удачно, ставшего руководителем партизанского движения, и потому не лгут ни одной интонацией. Его называли русским Хемингуэем, и, возможно, в последней незавершенной работе «...И всему роду твоему», включенной в эту книгу, эта параллель наиболее очевидна.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-109893-3

© Воробьев К. Д., 2020
© Эксмо, 2020

Содержание

Живой	6
Честно жил, честно писал	8
Повести	16
Крик	16
Убиты под Москвой	47
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Константин Воробьев

Убиты под Москвой. Крик. Повести

Предисловие «Живой» *Д. Быкова*

Предисловие «Честно жил, честно писал» *С. Романова*

В оформлении суперобложки использованы репродукции картин «Осенние хляби» (1942 г.) и «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» (1941 г.) художника А.А. Дейнеки.

© Воробьев К. Д., наследники, 2020

© Быков Д. Л., предисловие, 2020

© Романов С. С., предисловие, 2020

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство Эксмо, 2020

Живой

В 2008 году на одном из сетевых форумов кипела бурная дискуссия о повести Константина Воробьева «Убиты под Москвой» (опубл. 1963). Военные историки с потрясающим апломбом и пафосом ловили Воробьева, участника обороны Москвы в ноябре 1941 года, на вранье и некомпетентности. Сетевые историки вообще безапелляционные ребята. Им лучше очевидцев известно, как рота шла на фронт, чем была вооружена, как немцы выставляли боевое охранение и какой был звук у немецкого миномета. Они потрясают штатными расписаниями и ТТХ (тактико-техническими характеристиками) тогдашних вооружений. Суд над Воробьевым вершится скорый и единогласный: очернитель, а быть может, и провокатор! Как хотите, в шестьдесят третьем до такого не доходило. О неразберихе и катастрофических потерях первых месяцев войны тогда помнили. Даже официальная критика, топча «Убиты под Москвой» и «Крик», не упрекала Воробьева во лжи – а ведь живы были миллионы очевидцев. Больше того: фронтовики мгновенно опознали беспримесную правду во всех военных сочинениях Воробьева, как впоследствии те, кто уцелел в плену, увидели такую же мучительную достоверность в первом его сочинении – «Это мы, Господи!». Некоторые теперь, на тех же форумах, сомневаются: как мог Воробьев сразу после побега, отсиживаясь на чердаке, за месяц написать повесть о плене? Ему что, делать больше было нечего? Но в одном из лучших его автобиографических рассказов «Картины души» описана страшная, уже послевоенная, угроза безвестной гибели: художнику, тонущему в бурю посреди озера, страшнее всего, что никто ничего не узнает. И, видя случайного шофера на берегу, он находит в себе силы, выгребает, спасает дырявую лодку и себя – а тут и спасительный плавучий островок. Воробьев был такой писатель – рассказать свое было ему необходимо физиологически. Ведь не узнают!

Эти упреки во лжи, вымысле, очернительстве, фактической и психологической недостоверности сопровождали тогда – и сопровождают ныне, в дни очередных массовых вспышек самодовольства и паранойи, – всю честную русскую литературу, начиная с Астафьева, который первым из собратьев оценил Воробьева, и кончая Окуджавой, постоянно выслушивавшего от высокопоставленных военных, что «такого на фронте не было». На фронте было все, включая такое, чего не выдумает никакое очернительское воображение, – но только слепоглоухой и деревянный не почувствует той абсолютной подлинности, которая у Воробьева в каждой детали; не ощутит узнаваемости состояния – поверх визуальных и разговорных мелочей, которых тоже не выдумаешь; не увидит сновидческой точности картин боя, отступления, курсантских похорон – это много раз было увидено в подробных кошмарах, прежде чем записано. Воробьев умер в 1975 году от опухоли мозга, частого последствия фронтовой контузии; но и теперь одно животное, не найду другого слова, в Интернете усомнилось – что это его переводили из лагеря в лагерь, недострелили сразу, после первого побега? Может, он был у немцев осведомителем – их же берегли?

Уж подлинно советская власть, со всеми своими орудиями растления, не растлила Россию так, как двадцать лет безвременья, после которых никто не верит ничему.

Но потом думаешь: вот, 90 лет со дня рождения исполнилось 24 сентября 2009 года, – а насколько живее всех живых! Истинная мера бессмертия – ненависть. Кто сейчас ненавидит Бубеннова, Бабаевского, Симонова – простите, что поставил настоящего писателя рядом с титанами соцреализма? Даже Трифонова для приличия хвалят, хотя втайне, конечно, чувствуют классово-чуждость. А Окуджава, Воробьев, Астафьев, Василь Быков, Солженицын – сплошь очернители и прихвостни, вдобавок недостаточно повоевавшие. Чистая логика военкомов: те, кто пишут правду о войне, кому плохо на ней, – плохие солдаты.

Ребята, это же бессмертие! Вот так оно выглядит, а вы как себе представляли? Это же кем надо быть, чтобы в авторе нежнейших и мощнейших текстов в русской послевоенной прозе,

в создателе «Моего друга Момича», «Крика», «Великана» – увидеть потенциально возможного осведомителя и вруна?! Ведь в текстах Воробьева каждое слово кричит о человечности, о достоинстве, о силе и милосердии, – но эти-то качества и неприемлемы для стратегов всех мастей. Им желательно видеть народ тупой массой, радостно ложащейся под серп; безгласным орудием для осуществления их глобальных бездарных замыслов. А потому Воробьев им – нож острый, даже через 34 года после смерти. О чем бы он ни писал – о коллективизации, о фронте, о плене, о советском издательстве, о прибалтийском санатории, – он мгновенно вычисляет, люто ненавидит и прицельно изображает всех, кто может подняться только за счет чужого унижения. Всех трусливых демагогов, фарисеев, лицемеров, всех, кто ищет и жаждет доминирования, – тогда как герой Воробьева жаждет одного только понимания, и от этого понимания расцветает. Воробьев, может быть, и есть тот идеальный русский человек, каким он был задуман («Я не требовал наград, потому что был настоящим русским» – записные книжки, и ведь правда): рослый, сильный, выносливый красавец, рыбак, плотник, стрелок, партизан, писатель от Бога, с врожденным чувством слова. И такая жизнь – он словно притягивал громы, да и мог ли такой человек вызывать любовь у разнообразных упырей? Упыри ведь тоже обладают чутьем на талант и силу. Им невыносим Воробьев – с его изобразительной мощью, пластическим даром (вспомните описание церкви в «Момиче», портрет Маринки в «Крике»), с его влюбчивостью, избытком таланта, с вечной его вольной усмешечкой – как ненавязчиво и точно он шутит! Каким комизмом пронизан «Великан», самая мирная из его вещей, – но и ее топтали, даром что в ней-то никакого военного очернительства. Просто герои уж очень свободны – помню некоторый шок от чтения этой вещи в отрочестве, в старых дачных «Современниках». Я тогда хорошо запомнил Воробьева, и когда лет пятнадцать спустя познакомился с чудесным прозаиком и сценаристом Валерием Залотухой, в какой-то связи упомянул «Великана». «Любишь Воробьева?! – восхитился Залотуха. – Нас мало, но мы тайное общество!» Может быть, именно сочетание независимости и нежности – по крайней мере на уровне стремлений – объединяет всех этих людей, к которым так хочется причислить и себя.

Парадоксальную вещь сейчас скажу, но ничего сенсационного в ней, если вдуматься, нет: Воробьев был самым американским из русских писателей, странным сочетанием Хемингуэя и Капоте (Хемингуэя страстно любил, хотя не подражал, и дал ему самую точную характеристику: «Вы видели его последний снимок? С таким предсмертно-виноватым выражением? Как выдержать свое естественное поведение, если оно непонятно тому, другому? Приходится подлаживаться, и тогда на лице человека появляется вот такое хемингуэевское выражение...»). Хемингуэй чувствуется в военных его вещах, а явно нечитаная (хотя кто знает?) «Луговая арфа» Капоте – в «Момиче», в образе тетки Егорихи, в авторском «мы», объединяющем тетку и полусумасшедшего Ивана... Дело, вероятно, в том, что Воробьев долго жил в Литве – против воли, ибо осел там после войны: здесь он воевал в партизанском отряде, потом работал в магазине, потом – в газете... а в Россию возвращаться было некуда. Близость Запада сказалась – Прибалтика была «дозволенной Европой»; здесь не так въелась в кровь рабская оглядка. Хотя и своего рабства хватало, и прорабатывали здесь Воробьева по полной программе. Может, идеальное русское и невозможно без прививки западного, без этого легчайшего налета независимости – эта примесь так видна у Пушкина, Толстого, Блока, у всех лучших наших, вот и у Воробьева, русского Хемингуэя, прожившего так трудно и мало.

Его пятитомник вышел в родном Курске в 2008 году. Главную свою вещь – «...И всему роду твоему» – он не закончил, жилья и работы в Москве не получил, половину написанного напечатанным не увидел, государственных наград, кроме грамот от военкомата за поездки в воинские части, не имел. В 2001 году Солженицын наградил его своей премией – посмертно.

Есть, однако, и в этой судьбе высшая логика. Захваленных и чтимых – забывают, а вина перед теми, кому недодано, саднит долго. Со всех сторон получается – живой.

Дмитрий Бьков

Честно жил, честно писал

Честно жил, честно писал.

В 2019 году исполнилось сто лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьева – выдающегося русского писателя и честнейшего, порядочнейшего человека. Профессор кафедры литературы Курского государственного университета Андрей Ефимович Кедровский в книге «Земляки», посвященной творчеству К. Д. Воробьева и Е. И. Носова, писал: «Более честного художника-летописца, чем Константин Воробьев, трудно себе представить. Свидетель и участник событий 30-х годов, офицер-фронтовик, военнопленный, командир партизанской группы, он фактически писал о том, что сам непосредственно пережил, сделал, испытал». Ту же мысль высказал писатель и сценарист Виктор Смирнов во вступительной статье к книге К. Д. Воробьева «Заметы сердца»: «Вы войдете сейчас в мир писателя, который был не просто искренен и честен, он был болен честностью. Малейшую ложь, где бы она ни произносилась, он воспринимал как удар по себе, как личную обиду и оскорбление...»

Во многих справочниках и учебных пособиях указано, что Константин Воробьев родился 24 сентября 1919 года, но на самом деле это – второй день рождения писателя, так как 24 сентября 1943 года он совершил удачный побег из Шяуляйского лагеря. В действительности же Константин Воробьев родился 16 ноября 1919 года, о чем знают немногие – преимущественно те, кто имеет возможность общаться с Натальей Константиновной, его дочерью. О тайне рождения Константина Дмитриевича его вдова, Вера Викторовна, так писала в своих воспоминаниях о муже, которые называются «Розовый конь»: «У него было пять сестер и брат. Старшие Татьяна и Мария родились еще до Первой мировой войны. Их отец, Дмитрий Матвеевич Воробьев, в 1916 году ушел на войну, попал в плен, и пять лет от него не было вестей. В это время у Марины Ивановны в 1919 году родился сын Константин. Кто был его отцом, в семье не знали – мать свято хранила тайну. По словам Марии Дмитриевны (в 1975 году она уверяла, что мать ей открылась перед смертью), отец Константина – австрийский офицер, который, будучи раненым, однажды ночью постучался к ним в хату, и мать приютила его. Скрывала несколько месяцев в своем доме, потом рана зажила, и на заре она проводила его в дорогу навсегда. Тот был очень красивый, говорила она, высокий и стройный. В деревне же ходили разговоры, что отец Костика – русский белый офицер, называли то фамилию Останкова, то Письменнова. Мать назвала фамилию Письменнова, когда Константин Дмитриевич, будучи уже взрослым, спросил ее: «Кто отец?» И сыну Сергею сказал: «Запомни, Сергей, мы – Письменновы». Было даже желание сразу после войны взять себе фамилию Письменнов, но не хотел обижать отчима, а когда стали книги выходить, было уже поздно». Как мы видим, Вера Викторовна приводит здесь сразу несколько взаимоисключающих версий, и непонятно, какую из них она сама считает основной.

Дмитрий Матвеевич вернулся в 1921 году и усыновил незаконнорожденного Костю. О своем отчине Константин Дмитриевич всегда говорил с чувством благодарности. При этом писатель в рассказе «Ничей сын» представил и другой, трагический вариант аналогичной истории.

В 1933 году, после ареста отчима, Воробьев стал главным кормильцем семьи; получая в сельмаге зарплату хлебом, доносил его целиком до дома, несмотря на искушение отщипнуть крошечку. А ведь это год, когда в Курской области вымирали целыми семьями, посылки из Москвы не разрешались, сады вырубались из-за непосильного налога, а за распространение информации о голоде сажали.

С годом рождения Константина Воробьева тоже не все просто. Например, критик и литературовед Олег Михайлов в 1967 году поздравлял Константина Воробьева с юбилеем. И не только он полагал, что писатель родился в 1917-м. Дело в том, что после окончания школы

Воробьев поступил в сельхозтехникум в Мичуринске, тогда и исправил себе в справке год рождения с 1919 на 1917-й. Об этом можно узнать из письма Константина Воробьева режиссеру Ричарду Викторову: «Однажды с сомнительным успехом я пробовал выучиться на какого-то «эндокринника». Было это в голодный год, и я, спасаясь от лиха, подделал себе в справке лета и махнул в Мичуринск, где и был этот техникум. Эндокринник – это что-то связано с бойнями и мясокомбинатами. Словом, я проучился недели три, и все эти двадцать дней нас кормили кишками. Все, что было в городе и его садах, – все провоняло этими кишками. Ужас один, как это противно, ежели кишки и кишки, а больше ничего. И я сбежал опять в голод».

В 1935 году, работая в Медвенской районной газете, Константин Воробьев написал стихотворение на смерть Куйбышева, заканчивавшееся строчками «Ты не один, в аду с тобою/ И Сталин будет в краткий срок». И хотя стихотворение удалось уничтожить до того, как оно попало на глаза редактору Касьянкину, но Константина Дмитриевича все равно изгнали из редакции за «преклонение перед царской армией». Поводом послужила книга «Отечественная война 1812 года», которую читал Воробьев. После увольнения будущий писатель уехал в Москву к сестре Татьяне, работал в редакции фабричной газеты «Свердловец» ответственным секретарем, а вечером посещал среднюю школу.

В октябре 1938 года Константин Воробьев был призван в армию, проходил службу в западной Белоруссии. После окончания воинской службы (июль 1940 года) работал литературным редактором газеты в Академии Красной Армии имени Фрунзе, откуда был направлен на учебу в Кремлевское Краснознаменное пехотное училище.

В октябре 1941 года в составе роты кремлевских курсантов К. Д. Воробьев попадает на фронт. Оказавшись в плену, Воробьев проходит Клинский, Ржевский, Смоленский, Саласпилский концлагеря, 9-й Каунасский форт, Паневежскую и Шяуляйскую тюрьмы. Трижды бежал, удачно – 24 сентября 1943 года, и с тех пор эту дату он считал своим вторым днем рождения. С сентября 1943 года по август 1944 года Воробьев командовал отдельной партизанской группой, состоящей из военнопленных, бежавших из лагерей. Группа входила в состав литовского партизанского отряда «Кястутис», принимала участие в освобождении города Шяуляй. После вступления в город советских войск наряду с другими военнопленными Константин Воробьев испытал мучительные проверки в органах НКВД. Вера Викторовна Воробьева вспоминала: «Часто вызывали Константина Дмитриевича в органы безопасности и держали до утра. Грозили, оскорбляли, выказывая недоверие. Но среди допрашивающих нашелся молодой офицер, который старался задавать такие вопросы, чтобы можно было закрыть дело и избежать ареста. Конечно, только благодаря силе своего духа, логике и наличию воли, Константин Дмитриевич смог выйти победителем в этом поединке. Его оставили на свободе». Воробьев был назначен начальником штаба МПВО города.

В дальнейшем Константин Воробьев неоднократно с гневом и презрением будет писать о тех «героях», чья доблесть заключалась в издевательствах над соотечественниками. В его «Записных книжках» можно обнаружить такую историю: «Д. – командир партизанского отряда. По окончании войны ему предложили работу в НКВД. Он сообщил об этом своему старику отцу. Тот, подумав, сказал:

- Тебе сейчас нельзя.
- Почему?
- Вначале надо операцию сделать.
- Какую?
- Совесть вырезать.
- Д. не пошел».

А в повести «Почем в Ракитном радости» автобиографический главный герой, размышляя о человеческих глазах, особое внимание уделяет именно глазам тех, кто выполнял преступную волю государства и прославился на войне с безоружными людьми: «Ты знаешь, с каким

полуночным вниманием ящеров глядели на нас «смершовцы», когда задавали вопрос, почему мы остались живы?.. На своем веку я много повидал человеческих глаз. Я знаю, какими зрачками, когда и кто нацеливался в чужое сердце и убивал его бесшумно, наповал. Такие глаза были только у бериевских молодчиков...»

Неудивительно, что тема плена – важнейшее звено не только военных сюжетов Воробьева, но и тех произведений, где речь идет о событиях 1950–1970-х годов. Пожалуй, наиболее четко авторскую позицию формулирует автобиографический герой повести «...И всему роду твоему» Сыромуков. Он говорит своему соседу по комнате в санатории Яночкину, не воевавшему, но при этом отстаивающему представление о наших пленных как о трусах и предателях: «И лично я наградил бы всех пленных, кто остался цел в фашистских лагерях!»

18 августа 1945 года Константин Воробьев вступил в брак с Верой Викторовной Дзените. В этом же году родилась дочь Наташа, а в 1955-м – сын Сергей. В 1947 году после демобилизации (увольняли тех, кто был в плену) К. Д. Воробьев переехал в Вильнюс, где работал в Министерстве промстройматериалов, в Главукоопе старшим инспектором, заместителем директора сельхозснабжения, директором промтоварного магазина. С 1958 по 1966-й заведовал отделом литературы и искусства в газете «Советская Литва».

Вера Викторовна упоминает в «Розовом коне» о сложных взаимоотношениях мужа с младшим братом Василием. Он впервые появился в Шяуляе в феврале 1946 года, устроился инспектором финотдела и обложил хозяйку, в доме которой жил, самым высоким налогом: «Константина Дмитриевича знали в городе как гуманного и доброго человека, а сводный брат наводил страх на старух, торговавших на рынке, на ремесленников, на владельцев домов, ксендзов. Между братьями начались скандалы». По признанию Веры Викторовны, счастливым был тот момент, когда Василий сообщил, что женится и уходит к жене, местной девушке. Но когда уже в 1948 году семья Воробьевых жила в Вильнюсе, Василий у них останавливался, приезжая на экзаменационную сессию. Это были тяжелые дни для Константина Дмитриевича, вынужденного постоянно спорить с братом-сталинистом. Василий кричал, что таких, как Константин, надо ставить к стенке, причем это не мешало ему пользоваться материальной поддержкой старшего брата. Как-то Константин Дмитриевич спросил брата: «Что бы ты сделал, если бы я, как белый офицер, попал к тебе, красному, в руки?» – «Я бы тебя расстрелял», – сказал тот. «А вот я бы, – ответил Константин Дмитриевич, – отпустил бы тебя, дурака, потому что ты мой брат. Вот в этом и есть коренное отличие между нами». Воробьев даже говорил, что хочет написать о своем братце, чтобы показать всю подлую суть современного холуя, одурманенного так называемым марксизмом-ленинизмом. Именно Василий показал рассказ «Ничей сын» Дмитрию Матвеевичу Воробьеву, уже смертельно больному, и постарался, чтобы тот принял его на свой счет.

В 1956 году в Вильнюсе вышел первый сборник рассказов К. Д. Воробьева «Подснежник». В начале 1960-х Воробьев пишет две повести о войне – «Убиты под Москвой» (1961) и «Крик» (1962). Вторая в сильно искаженном виде будет опубликована в журнала «Нева» (1962, № 7), первая – с купюрами в «Новом мире» (1963, № 2). Также Воробьев создает повести о довоенной деревне: «Сказание о моем ровеснике» (1963), «Почем в Ракитном радости» (1964), «Друг мой Момич» (1965). Последнюю Воробьев считал выполнением своего гражданского долга, поскольку изобразил в ней гибель русской деревни. Напечатать ее не решился даже «Новый мир» Твардовского. Из-за этой же повести в издательстве «Советская Россия» будет «рассыпан» сборник К. Д. Воробьева. Полностью она будет опубликована только в 1988 году. Двумя годами ранее будет напечатана повесть «Это мы, Господи», написанная Воробьевым еще в годы войны и на протяжении многих лет считавшаяся утерянной.

До 1974 года писатель работал над повестью «...И всему роду твоему», оставшейся неоконченной. Умер К. Д. Воробьев 2 марта 1975 года. Похоронен был в Вильнюсе на Анта-

кальском кладбище. 11 октября 1995 года прах К. Д. Воробьева перевезен из Вильнюса и перезахоронен на Мемориале воинской славы (Никитском кладбище) в г. Курске.

В 1991–1993 годах вышло собрание сочинений писателя в трех томах. В 2008 году в Курске был выпущен пятитомник К. Д. Воробьева.

В 2001 году Константин Дмитриевич Воробьев (посмертно) вместе с Евгением Ивановичем Носовым стал лауреатом Литературной премии Александра Солженицына. Наталья Константиновна, дочь писателя, сказала, что эта награда – единственная в литературной судьбе ее отца, и она рада, что принимает ее из таких надежных и чистых рук.

Из числа недоброжелателей Константина Воробьева особо стоит выделить критика Григория Бровмана. Этот человек сам на передовой никогда не был, но при этом учил писателей-фронтовиков, что писать о войне нужно, придерживаясь «правды исторического оптимизма». Делая обзор прозы за 1963 год, он утверждал: «Некоторые наши писатели, стремясь показать психологию бойца, пошли по неверному пути: стали изображать микрокосмический мирок внутренней жизни солдата, отгородив его от большого мира размышлений и идей». В качестве примера подобного «вредного» произведения он приводит повесть Константина Воробьева «Убиты под Москвой»: «Это – мрачный перечень страданий, ужасов и смертей... Изуродованные тела, оторванные руки, искалеченные жизни... Грубость и жестокость в отношениях между солдатами. Страх перед возможностью погибнуть, лишаящий воина человеческого облика... Эта повесть, проникнутая несвойственным нашей литературе пацифистским духом, еще раз доказывает, что вне активной, утверждающей позиции не может быть творческого успеха, тем более когда пишешь о военных днях».

Бровману тогда замечательно ответил Виктор Петрович Астафьев в статье «Яростно и ярко»: «Я могу, как бывший окопник, сказать, что не знаю ничего страшнее и натуралистичнее войны, где люди убивают людей. И коли К. Воробьев, все испытавший на войне, не умеет рыднуть ее в кому-то нравящиеся романтические одежды, значит, иначе не может. Он пишет, страдая за людей, без расчета кому-то понравиться и угодить. В том его сила!» После того как Астафьев продемонстрировал Бровману, что настоящие фронтовики не позволят ему безнаказанно глумиться над Константином Воробьевым, тот был вынужден в книге «Проблемы и герои современной прозы», вышедшей в 1966 году, высказаться несколько иначе: «Неумеренной рефлексивностью на фоне сплошь трагических обстоятельств отличаются персонажи интересной, но во многом и спорной повести К. Воробьева “Убиты под Москвой”».

Переписка Константина Воробьева с Виктором Астафьевым завязалась в конце 1963 года. В своем первом письме Астафьев написал, что повесть «Алексей, сын Алексея» – вторая вещь из прозы Воробьева, прочитанная им. Первая же – повесть «Капля крови»: «...и надо сказать, за это время Вы так выросли, что диво дивное!» В ответном письме Воробьев объяснит Виктору Петровичу, что «Капля крови» написана кем-то другим, и Астафьев выяснит, что она принадлежит однофамильцу адресата – Евгению Воробьеву. Уже в первом письме Астафьев спрашивает: «Вы курянин, что ли? В Курске у меня знакомый писатель живет – Женя Носов, тоже отличный прозаик». А в 1965 году, после поездки в Курск, Виктор Петрович напишет Константину Дмитриевичу: «Был в твоих краях курских. Город очень хороший, хотя и провинциально-глухой, но местность вокруг – сила! Переезжай-ка ты на Родину. Там Женька Носов живет. Хороший человек и писатель. Будете друзьями». Собственно, благодаря Астафьеву и состоится знакомство Константина Воробьева и Евгения Носова.

Вот фрагмент из письма Астафьева Воробьеву от 10 марта 1964 года: «Дорогой Константин! Сегодня ночью я прочел твою повесть «Убиты под Москвой». Прочел, побуждаемый руганью критиков... Они тебя обвиняют в пацифизме, так вот считай, что они, хотя и по дурости, сказали тебе комплимент... В общем, меня ругали тоже пацифистом, а я взнялся на трибуну и поблагодарил за это, сказав, что ненавижу смерть в любом проявлении, отрицаю войну в любом

виде, и пока живу, буду на том стоять, и называйте это каким хотите словом – иностранным – пацифист, или русским – жизнелюб».

В 1983 году Астафьев напишет о Воробьеве статью «И все цветы живые». Там он подробно разъяснит, в чем заключается принципиальная разница между войной «киношной», и той настоящей войной, которую рисовал Константин Дмитриевич: «Читая послевоенные книги, смотря некоторые кинофильмы, я не раз и не два ловил себя на том, что был на какой-то другой войне. (К. Воробьев уверял меня в том же.) Да и в самом деле: как иначе-то думать, если вот под песню «Клен зеленый» воюют летчики, даже не воюют, а выступают на войне. И так красиво выражаются: «Война – дело временное, музыка – вечна!» И-и... взмах руки: «Клеон кудр-рявый!..» – летят вверх эшелоны, цистерны, – «р-рас-кудр-рявый!» – и лупит в хвост удирающему фрицу краснозвездный сокол, аж из того сажа и клочья летят! Еще раз: – «Раскудр-рявый!..» – и в землю врезается бомбовоз, разбегаются ошеломленные враги, все горит, все бежит – и как-то в кинотеатре я тоже заподпрыгивал на сиденье и в ладоши захопал вместе с ребятишками школьного возраста – до того мне поглянулась такая разудалая война.

Или вот еще: смертельно раненная девица поет романс: «Ах, не любил он, нет, не любил он...» – и палит из автомата по врагам, палит так много, что уж в рожке немецкого автомата не сорок, а тыща патронов, должно быть, – это она, под романс-то, «красивая и молодая» заманивает фашистов в темь леса, на неминуемую гибель.

А там, на некиношной-то войне, на настоящей, дяди баскетбольного роста, как штангист Алексеев телосложением, раненные в живот (редко кто с этим ранением выживал), криком кричали «маму», и уж – срамища сплошная – доходило до того, что просили, умоляли: «Добейте, братцы!..»

Воробьев признавался, каких трудов ему стоило делать дневниковые записи, вести записные книжки: «Нет, дневник вести невозможно, если все время помнить, что его каждую секунду могут прийти и забрать. А записывать здесь различный вздор, а не то, от чего волосы встали бы дыбом, не стоит». Тем не менее дневник Константин Дмитриевич вел и записывал туда именно то, от чего волосы встают дыбом. Прежде всего – то, до какого внутреннего опустошения доводило его противостояние с советским цензурно-карательным аппаратом. «А писать невозможно, – признается сам себе Воробьев в сентябре 1971 года. – Как только я сажусь за стол, за спиной незримо встает редактор, цензор, советский читатель. Этот «простой человек», пишущий на меня жалобы в ЦК. Жить давно надоело. Я уже с трудом переношу сам себя. Я мне противен, а порой жалок. Так и не уничтожил раба в себе».

А сколько раз Константину Воробьеву приходилось получать издевательские отзывы из журналов, куда он посылал свои произведения, с объяснениями, почему они не могут быть напечатаны. Вот некоторые примеры: журнал «Юность» в августе 1956 года «не без огорчения» возвращает автору рассказ «Синель»: «Дело в том, что рассказ понравился в редакции. Но журнал наш «малолитражный», а материала, ожидающего своей очереди, накопилось столько, что дай бог опубликовать его в течение будущего года... Рассказ Ваш обладает всеми литературными достоинствами, чтобы найти свое место в каком-либо другом журнале». В июле 1961-го сотрудник журнала «Нева» С. Кара пишет «уважаемому товарищу Воробьеву»: «“У кого поселяются аисты”» – не для нашего журнала. Возможно, после небольшой правки он может найти себе место на страницах одного из пионерских журналов. «Нева», как бы это сказать, «взрослее». Причем главный редактор журнала С. Воронин, с которым у Воробьева были хорошие отношения, приписывает, что согласен с Карой.

А вот как главный редактор «Невы» объясняет Константину Воробьеву, почему журнал не будет печатать одну из лучших его повестей: «“Почем в Ракитном радости” нам не доставила радости, а почему, ты должен знать сам. Не сможем мы ее напечатать. Никак не сможем... А написано очень хорошо, очень!»

Поневоле вспоминается фраза С. Д. Довлатова, неоднократно попадавшего в те же ситуации, что и Константин Воробьев: «Если дать рукописи Брежневу, он скажет: “Мне-то нравится. А вот что подумают наверху?”» И когда я читаю написанное Ворониным в 1977 году: «До сих пор казню себя за то, что не напечатал его повесть «Убиты под Москвой»... В то время все было овеяно только победой, и мало кто задумывался, что вместе с победой были и поражения и потери, о которых тоже надо говорить. Константин Воробьев сказал. А мне показалось в ней что-то пораженческое, идущее от Ремарка, и я вернул ее», – то думаю: это очень хорошо, что повесть вышла в «Новом мире» (правда, с купюрами, которых там, как выразился автор в одном из писем Виктору Астафьеву, «до черта было»), а то «Нева» сделала бы с ней то же самое, что с «Криком», изуродовав до неузнаваемости. Из «Крика» в журнальной публикации была выброшена вся вторая часть, в которой присутствуют темы плена и преступной бессмысленности разведки боем, в которую отправляет Воронова, Васюкова и их подчиненных майор Калач.

В такой ситуации писатель был вынужден заниматься самоцензурой. В записных книжках он рассказывает о повести «Вот пришел великан»: «И вот я закончил эту повесть. И вижу, что в нее вошло 60 % того, что у меня было... Я все боялся, что все не опубликуют, не примут, а мне так хотелось рассказать или пожаловаться людям. О чем же я умолчал? Чего боялся и кого страшился? Прежде всего редактора, цензора, среднего грамотного читателя, который сразу же пишет в «Литературку» протесты, негодования и пр., а я хочу ведь, чтобы повесть опубликовали».

Но наиболее болезненно Воробьев воспринимал отказы, приходившие из «Нового мира». Тяжелейшим ударом стало для писателя то, что журнал не принял его повесть «Друг мой Момич». Заключение сотрудника редакции Герасимова гласило: «Повесть написана талантливым автором, и в ней есть хорошая основа... Но, к сожалению, повесть претендует на значительно большее – на новое слово о коллективизации, и эта претензия оказывается несостоятельной».

Заседание редколлегии, проходившее в кабинете Твардовского, Воробьев охарактеризует впоследствии как «мое коллективное избиение, аккуратное, на высшем уровне корректное и доказательное». «Я, – замечает писатель, – сидел ошеломленный и разоренный до основания».

А в феврале 1969 года Ефим Дорош объяснит писателю, почему журналу не подошел рассказ «Чертов палец»: «Кроме меня, рассказ читал еще Алексей Иванович Кондратович. Оба мы сошлись на том, что рассказ – вернее, все персонажи его, за исключением художника, – написан точно, выразительно, однако общая картина несколько тенденциозно смещена».

Это ни в коем случае не упрек в адрес Твардовского, ведь ему необходимо было думать о судьбе не только повести и рассказа Воробьева, но и «Нового мира» в целом. Когда над журналом стали сгущаться тучи, Константин Дмитриевич счел необходимым оказать моральную поддержку А. Т. Твардовскому. В августе 1963 года писатель направил главному редактору письмо, которое Твардовский вклеил в свои дневники. Там говорилось: «В эти дни смуты и разврата в нашей литературе я испытываю глубокую потребность обратиться к Вам вот с этим письмом и сказать Вам великое спасибо за Вашу голубиную чистоту, мужество, заботу и тревогу о всех тех, кому дорога честь русского писателя и судьба Родины».

О высокой совестливости К. Д. Воробьева свидетельствует и тот факт, что он не ограничился простым неучастием в травле А. И. Солженицына. Когда в апреле 1972 года «Литературная газета» опубликовала очередную антисолженицынскую подборку под заголовком «По какой России плачет Солженицын?», Воробьев направил в ее редакцию резкое письмо, фрагменты из которого я сейчас приведу: «“Литературка” не раз пыталась очернить и унижить Александра Солженицына, но всегда в этом случае с газетой получался конфуз: гонимый писатель всякий раз вырастал в глазах русского мыслящего читателя как поборник правды и чести, и дело тут в том, что у газеты нет и не может быть иных средств борьбы против правды, кроме

как лжи. Притом лжи жалкой, неуклюжей и бездарной, так как для этой «работы» могут быть привлечены лишь морально неполноценные субъекты. Дело, которому добровольно и так изумительно доблестно служит А. Солженицын, исторически праведно...» Здесь же Воробьев, забыв про всякую осторожность, выскажет все, что думает о Советской власти: «Если бы у нас существовала гласность, то мир содрогнулся бы и онемел, прочтя свиток бессмысленно жестоких и кровавых деяний различного рода заплечных мастеров, бесовствующих на русской земле во все годы Советской власти, и если сущность этой власти заключается в попрании Порядка, Совести, Бога и Истины, то с такой властью надобно бороться как с величайшим злом человечества».

Такую откровенность Воробьев периодически позволял себе разве что в дневниковых записях. Вот некоторые примеры: «На Руси были страшные времена, но подлее моего времени не было»; «Коммунисты, разорив в 29–30-е годы церкви и казнив священников и охулив перед народом веру в Бога, низвели этот народ до степени мерзостного стада обезьян»; «Соцреализм – это полное лишение права писателя показывать действительность».

Константин Воробьев не был сторонником идеи всепрощения. «В Библии, – пишет он в дневнике, – сказано, что ничто не остается и не останется без возмездия – и это хорошо, потому что безнаказанность преступления по своей сути аморальна, она разлагает человека, общество, наконец – нацию, ибо является прецедентом для повторения зла». И тем не менее все автобиографические герои Воробьева – это не мстители. Например, в повести «Почем в Ракитном радости» писатель Кузьма Останков приезжает в родное село, чтобы объясниться с земляками и поквитаться с неким Косьянкиным, который при непосредственном участии самого Кузьмы подвел его дядю Мирона Останкова под расстрельную статью. Герой повести думал, что будет не только подсудимым, но и судьей, однако по силам ему оказывается только первая роль. Дядя Мирон, оказавшийся живым, прощает племянника, не произнося никаких громких слов, и вскоре после этого тень Косьянкина перестает преследовать героя. Приехав в Ракитное с мыслями не только о покаянии, но и о мести, Кузьма излечивается от той многолетней злобы, которую носил в сердце, и ему хочется писать повесть, но не о возмездии, полученном негодяем, как он ранее собирался, а совсем другую.

В рассказе «Чертов палец» главный герой Иван Кондратьев приезжает в родную Чекмаревку после тридцати трех лет отсутствия. У него в детстве от голода умер отец, которого Иван похоронил прямо на огороде. Вступив в диалог с бывшим председателем сельсовета Кочетком, Кондратьев быстро понимает, что тот ни в чем себя виноватым не считает, а стиль своего руководства оправдывает государственной необходимостью. Кочеток – фигура отталкивающая, но главный герой даже после адресованного ему вопроса: «А чего ж ты не помер?» – не испытывает к нему ненависти. У Кондратьева нет желания наказывать кого-либо за пережитую в детстве трагедию. Как мы видим, автобиографическим героям Воробьева легче отказаться от мыслей о возмездии, нежели кому-либо воздать по заслугам. Единственный суд, который они способны вершить, – это суд над собой. Перестать жить идеей возмездия – это значит спасти в первую очередь собственную душу. Как выразился Игорь Золотусский, вся проза К. Д. Воробьева «чистая и немстящая».

Насколько страшно для писателя впасть в состояние ожесточения, сам Воробьев отмечает в одном из писем В. П. Астафьеву: «Уже вот полгода, как я служу в газете. За это время не написал ни строчки. Да и не берут меня, не хотят, вертают без отписок даже, просто с обратной почтой. Это раздражает, зовет к отпору, ожесточает душу, а с таким настроением писать трудно».

Представление о человеческой жизни как о высшей ценности является сквозной идеей всего творчества К. Д. Воробьева. Писатель ясно дает понять читателю: людей нельзя мучить и тем более убивать, какими бы красивыми словами о благе государства такие действия ни прикрывались. И когда я читаю в статье критика Л. Лавлинского «Биография подвига» о повести «Убиты под Москвой»: «Пережив невыносимое, герой простой бутылкой с горячим поджигает

вражеский танк, становится опытным и беспощадным воином», – мне хочется возразить: «Это не про Алексея Ястребова и не про Константина Воробьева!» Всепроникающая гуманистическая направленность творчества писателя в первую очередь состоит в том, что никто из его автобиографических героев, несмотря на все перенесенные испытания, не может стать беспощадным по отношению к другим, – только к себе!

Писатель, на долю которого выпало столько тяжелого и мрачного, остро ощущал, что человек имеет право на счастье, и лишать его этого права – преступление. В «Записных книжках» Воробьев высказывает такое желание: «Написать рассказ о тех, кто сулит рай в будущем. Природа этого. Жить тем, что будет после тебя? В этом страшная ложь. И люди должны противиться ей. Человек должен сделать себе радость при своей жизни. Себе. И это останется потомкам. Это очень просто».

Сергей Романов

Повести

Крик

Уже несколько дней я командовал взводом, нося по одному кубарю в петлицах. Я ходил и косил глазами на малиновые концы воротника своей шинели, и у меня не было сил отделаться от мысли, что я лейтенант. Встречая бойца из чужого взвода, я шагов за десять от него готовил правую руку для ответного приветствия, и если он почему-либо не козырял мне, я окликал его радостно-гневным: «Вы что, товарищ боец, не видите?» Обычно красноармеец становился по команде «смирно» и отвечал чуть-чуть иронически: «Не заметил вас, товарищ лейтенант!» Никто из них не говорил при этом «младший лейтенант», и это делало меня их тайным другом.

Наш батальон направлялся тогда на фронт в район Волоколамска. Мы шли пешим порядком от Мытищ и на каждом привале рыли окопы. Сначала это были настоящие окопы, – мы думали, что тут, под самой Москвой, и останемся, но потом бесполезный труд осточертел всем, кроме командира батальона и майора Калача. Он был маленький и кривоногий и, наверное, поэтому носил непомерно длинную шинель. Мой помощник старший сержант Васюков назвал его на одном из привалов «бубликом». Взводу это понравилось, а майору нет, – кто-то был у нас стукачом. После этого Калач каждый раз лично проверял качество окопа, отрытого моим взводом. У всех у нас – я тоже рыл – на ладонях вспухли кровавые мозоли: земля была мерзлой – стоял ноябрь.

На шестой день своего землеройного марша мы вступили в большое село. Было уже под вечер, и мы долго стояли на улице – Калач с командирами рот сверял местность с картой. Весь день тогда падал редкий и теплый снег. Может, оттого что мы шли, снежинки не прилипали к нашим шинелям, и только у майора – он ехал верхом – на плечах лежали белые, пушистые эполеты. Он так осторожно спешил, что было видно – ему не хотелось отряхивать с себя снег.

– Гляди-ка, товарищ лейтенант! Бублик наш подрос!

Это сказал мне Васюков на ухо, и мне не удалось справиться с каким-то дурацким бездумным смехом. Майор оглянулся, посмотрел на меня и что-то сказал моему командиру роты. Я слышал, как тот ответил: «Никак нет!»

Село стояло ликом на запад, и мы начали окапываться метрах в двухстах впереди него, почти на самом берегу ручья. Воды в нем было по колено, и она казалась почему-то коричневой. Моему взводу достался глинистый пригорок на правом фланге в конце села. Дуло тут со всех сторон, и мы завидовали тем, кто окапывался в низинке слева.

– Застынем за ночь на этом чертовом пупке, – сказал Васюков. – Может, спикировать в хаты за чем-нибудь?

Я промолчал, и он побежал в село. У него была плоская стеклянная фляга с длинным, узким горлом, оплетенная лыком. Он носил ее на брючном ремне, и она не выпирала из-под шинели. Васюков называл ее «писанкой».

Я ждал его часа полтора. За это время на нашем чертовом пупке побывали Калач и командир роты.

– Окоп отрыть в полный профиль, – распорядился Калач. – Отсюда мы уже не уйдем.

Когда они ушли, я спустился к ручью. Он озябло чурюкал в кустах краснотала. За ним ничего не виделось и не слышалось. Мне не верилось, что мы не уйдем отсюда.

Васюков ожидал меня, сидя на краю полуотрытого окопа.

– Не достал, – шепотом сообщил он. – Шинель хотят...

– За сколько? – спросил я.

– За пару литров первача... Жителей совсем мало. Ушли.

– А за что сам тяпнул? – поинтересовался я.

– Да не-е, это я пареных бураков порубал, – сказал он.

Лишних шинелей у нас еще не было. А Васюков все же выпил, – я с самых Мытищ знал, чем отдает самогон из сахарной свеклы.

– Между прочим, тут есть валяльня, – сказал он. – Полный амбар набит валенками. И никого, кроме кладовщицы... Бабец, между прочим, под твой, товарищ лейтенант, рост, а под мою...

– Давай-ка рыть, – предложил я. – Отсюда мы, между прочим, не уйдем, понял?

Становилось совсем темно, но мы продолжали работать, ругаться – ветер дул с запада и забивал глаза землей и снегом.

– Если на самом деле тут засядем, то не худо бы первыми захватить валенки, а? – сказал Васюков. От него хорошо все-таки пахло. Закусывал он, видать, не бураками. Он был прав насчет валенок. Хотя бы несколько пар. Почему не попытаться?

– Давай сходим, – сказал я.

Село как вымерло. Нигде ни огонька, ни звука – даже собаки не брехали. Мы миновали сторонкой школу, где разместился на ночь штаб батальона, потом завернули в темный двор, и там я минут десять ждал Васюкова. Из хаты он выходил шагом балерины, но сначала я увидел белую чашку, а затем уже его протянутые руки.

– Держи, – таинственно сказал он, и пока я пил самогон, он не дышал и вырастал на моих глазах – приподнимался на цыпочки.

После этого мы выбрались на огороды села. У приземистого деревянного амбара Васюков остановился и постучал ногой в дверь.

– Ктой-то? – песенно отозвался в амбаре чуть слышный голос.

– Мы, – сказал Васюков.

– А кто?

– Командиры, – сказал я.

Амбар и на самом деле был забит валенками. Они ворохами лежали по углам и подпрыгивали – мигала «летучая мышь», стоявшая у дверей на полу. Я приподнял фонарь и увидел у притолоки девушку в черной стеганке, в большой черной шали, в серых валенках. Она держала в руках железный засов.

В жизни своей я не видел такого дива, как она! Да разве об этом расскажешь словами? Просто она не настоящая была, а нарисованная – вот и все!..

– Ну, что я говорил? – сказал Васюков.

Я сделал вид, будто не понял, о чем он, и сказал:

– Забираем сейчас же!

– Все? – обрадованно спросила девушка, глядя на меня так же, как и я на нее.

– Пока тридцать две пары, – сказал Васюков.

Он подмигнул мне и побежал во взвод за бойцами, а мы остались вдвоем. Мы долго молчали и почему-то уже не смотрели друг на друга, будто боялись чего-то, потом я спросил:

– Кладовщицей работаете тут?

Она ничего не сказала, вздохнула и поправила шаль, не выпуская из рук засова. Да! Ни до этого, ни после я не встречал такой живой красоты, как она. Никогда! И Васюков говорил правду – ростом она была почти с меня.

Я всегда был застенчив с девушкой, если хотел ей понравиться, и сразу же превращался в надутую индюка, как только оставался с нею наедине. Что-то у меня замыкалось внутри и каменело, я молчал и делал вид, что мне все безразлично. Это, наверно, оттого, что я боялся показаться смешным, неумным.

Все это навалилось на меня и теперь. Я щурил глаза, начальственно осматривал вороха валенок, стены и потолок амбара. Руки я держал за спиной. И покачивался с носков на каблуки сапог, как наш Калач.

– А расписку я получу? – спросила хозяйка валенок. Я понял, что подавил ее своим величием и кубарями, и молча кивнул.

– Ну, тогда пишите, – сказала она.

Я написал расписку в получении тридцати двух пар валенок от колхоза «Путь к социализму» и подписался крупно и четко: «Командир взвода воинской части номер такой-то м. лейтенант Воронов». Я проставил число, часы и минуты совершения этой операции. Она прочла расписку и протянула ее мне назад:

– Не дурите. Мне ж правда нужен документ!

– А что там не так? – спросил я.

– Фамилия, – сказала она. – Зачем же вы мою ставите? Не дурите... – Никогда потом я не предъявлял никому своих документов с такой горячей радостью, почти счастьем, как ей! Она долго рассматривала мое удостоверение – и больше фотокарточку, чем фамилию, – потом взглянула на меня и засмеялась, а я спросил:

– Хотите сахару?

Я достал из кармана шинели два куска рафинада и сдул с них крошки махорки.

– Берите, у меня его много, – зачем-то соврал я.

Она взяла стыдливо, покраснев, как маков цвет, и в ту же минуту в амбар ввалился Васюков с четырьмя бойцами. Конечно, он пришел не вовремя – мало ли что я мог теперь сказать и, может, подарить еще кладовщице! Она стояла, отведя руку назад, пряча сахар и глядя то на вошедших, то призывно на меня, и я, ликуя за эту нашу с нею тайну на двоих, встал перед нею, загоротив ее, и не своим голосом распорядился отсчитывать валенки.

Через минуту она вышла на середину амбара. Руки ее были пусты.

Васюкову не хотелось нагружаться, но связывать валенки было нечем, а каждый боец мог унести лишь шесть-семь пар.

– Давай забирай остальные, – сказал я ему.

– А может, кто-нибудь из бойцов вернется за ними? – спросил он, но, взглянув на меня, взял валенки.

– Пошли, – сказал я всем и оглянулся на кладовщицу. – А вы разве остаетесь?

– Нет... Я после пойду, – сказала она. Васюков протяжно свистнул и вышел. Я догнал его за углом амбара.

– Смотри там за всем, я скоро! – сказал я.

– Да ладно! – свирепо прошептал он. – Гляди только, не подхвати чего-нибудь в тряпочку...

Я постоял, борясь с желанием идти во взвод, чтобы как-нибудь нечаянно не потерять то хорошее и праздничное чувство, которое поселилось уже в моем сердце, но потом все же повернул назад, к амбару. Внутрь я не пошел. Я заглянул в дверь и сказал:

– Я вас провожу, хорошо?

– Так я же не одна хожу, – песенно, как в первый раз, сказала кладовщица, пряча почему-то руку за спину.

– А с кем? – спросил я.

– С фонарем.

Я не хотел, чтобы она шла с фонарем. Он был третий лишний, как Васюков, и я сказал:

– С фонарем нельзя теперь. Село на военном положении...

В темноте мы долго запирали амбар, – петля запора не налезала на какую-то скобу, и мне надо было нажимать плечом на дверь. Наши руки сталкивались и разлетались, как голуби, и, поскользнувшись, я схватился за концы ее шали. Мы оказались лицом к лицу, и я смутно уви-

дел ее глаза – испуганные, недоуменные и любопытные. В глаз и поцеловал я ее. Она отшатнулась и прикрыла этот глаз ладонью.

– Я нечаянно. Ей-богу! – искренне сказал я. – Вам очень больно?

– Да не-ет, – протянула она шепотом. – Сейчас пройдет.

– Подождите... Дайте я сам, – едва ли понимая смысл своих слов, сказал я.

– Что? – спросила она, отняв ладонь от глаза. Тогда я обнял ее и поцеловал в раскрытые, ползущие в сторону девичьи губы. Они были прохладные, упруго-безответные, и я ощутил на своих губах клейкую пудру сахара.

Странное, волнуемое и какое-то обрадованно-преданное и поощряющее чувство испытывал я в тот момент от этого сахарного вкуса ее губ. Я недоумевал, когда же она успела попробовать сахар, и было радостно, что сахар этот был моим подарком, и мне хотелось сказать ей спасибо за то, что она попробовала его украдкой... Я думал об этом, насильно целуя ее и чувствуя слабеющую силу ее рук, упершихся мне в грудь. О том, что она заплакала, я догадался по вздрагивающим плечам, – лицо ее было в моей власти, но я его не видел, и испугался, и стал умолять простить меня и гладить ее голову обеими руками.

– Я хороший! – убежденно, почти зло сказал я. – У меня никогда никого не было... Вот увидишь потом сама!

Что и как могла она увидеть потом, я до сих пор не знаю и сам, но я говорил правду, и, видно, она ее услышала, потому что перестала плакать.

– Я больше не прикоснусь к тебе пальцем! – верующе сказал я. Она подняла ко мне лицо, держа сцепленные руки на груди, и с укором сказала:

– Хоть бы узнали сначала, как меня зовут!

– Машей, – сказал я.

– Мари-инкой, – протяжно произнесла она, а я качнулся к ней и закрыл ее рот своими губами. Я чувствовал, что вот-вот упаду, и вдруг блаженно обессилел; я куда-то падал, летел, и мне не хватало воздуха. Я разнял свои руки и прислонился к стене амбара, а Маринка кинулась прочь.

– Подожди! – крикнул я. – Подожди минуточку!

Она вернулась, издали тронула пальцем пуговицу на моей шинели и сказала:

– Ну, что это вы? А шапка где?

Она нашла ее под ногами и протянула мне.

– Мари-и-инка, – произнес я как начальное слово песни и стал целовать ее – напряженную, трепетную, прячущую лицо мне под мышку.

– Не надо... Пожалуйста! Ну разве так можно!..

– Скажи: «Ты, Сергей», – просил я.

– Нет, – отбивалась она. – Не буду...

– Почему?

– Я боюсь...

– Чего?

– Не знаю...

– Ты мне не веришь?

– Не знаю... Я боюсь... И, пожалуйста, не нужно больше целоваться!

– Хорошо! – отрешенно и мужественно сказал я. – Больше я к тебе пальцем не прикоснусь!

До ее дома мы дошли молча. Она поспешно и опасно скрылась за калиткой палисадника и, невидимая в черных кустах, песенно сказала:

– До свидания!

– Я приду завтра! – шепотом крикнул я.

– Нет-нет. Не надо!

– Днем приду, а потом еще вечером... Хорошо?

– Я не знаю...

Через пять минут я был в окопе.

В девять утра на наш пупок прибыл Калач в сопровождении своего начальника штаба и нашего командира роты.

– Младший лейтенант-а-ант! – не останавливаясь, идя с подсиггом, как все маленькие, закричал Калач еще издали, и я враз догадался, что сейчас будет – ему доложили о валенках. Может, еще ночью кто-то стукнул, черт бы его взял! Я побежал к нему, остановился метров за пять и так врезал каблуками, что он аж вздрогнул.

– Командир второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона младший лейтенант Воронов по вашему приказанию явился!

У меня получилось это хорошо, и, наверно, я правильно смотрел в глаза майору, потому что он скосил немножко голову, как это делают, когда разглядывают что-нибудь интересное, потом обернулся к командиру роты:

– Видал орла?

Капитан Мишенин пощурился на меня и вдруг подмигнул. Ему не нужно было это делать – я ведь тогда весь был захвачен широкой и бездонной радостью, поэтому не выдержал и засмеялся.

– Что-о? – рассвирепел Калач. – Тебе весело? Мародерствуешь, а потом зубы скалишь? В штрафной захотел?

– Никак нет, товарищ майор! – доложил я.

– Куда девал государственное имущество? – спросил он. Я не совсем понял, и тогда Мишенин негромко сказал:

– Это кооперативное, товарищ майор.

– Все равно! – отрезал Калач. – Где валенки, я спрашиваю?

– У бойцов на ногах, – ответил я.

– На ногах? – опешил майор. – Сейчас же возвратить! Немедленно! Самому!

– Есть возвратить самому! – повторил я и обернулся к окопу: – Разуть валенки-и!

Я любил в эту минуту Калача. Любил за все – за его рост, за то, что он майор, за его ругань, за то, что он приказал мне самому отнести валенки в амбар... Они все, кроме двух пар, были изрядно испачканы землей и растоптаны, и бойцы начали чистить их, а Васюков, когда удалилось начальство, спросил меня:

– Может, вдвоем будем таскать?

– А ты не слышал, что сказал майор? – ответил я. – Мне одному приказано.

– Да откуда он узнает!

– От стукача, который доложил ему!

– Это верно, – вздохнул он.

Я захватил под мышки шесть пар валенок и побежал к амбару, и за дорогу раза три складывал валенки на землю, и поправлял на себе то шапку, то ремень и портупею. Сердце у меня давало, наверно, ударов полтора в минуту, и когда я увидел запертые двери амбара, то даже обрадовался – я боялся увидеть Маринку днем, боялся показаться сам ей.

Я долго сидел на крыльце амбара – курил и глядел в поле, и когда от махры позеленело в глазах, неожиданно решил идти за Маринкой.

В селе оказалось много изб с палисадниками, и я выбрал тот, где кусты были погуще, и, ссыпав валенки во дворе, постучал в двери сеней. Я на всю жизнь запомнил дверь эту – побеленную зачем-то известью, с засаленной веревочкой вместо ручки. Большими печатными буквами-раскоряками пониже веревочки объявлялось:

«МАРИНКА

ДУРА»

Открыл мне пацаненок лет семи, – это был Колька, Маринкин братишка, как узнал я потом.

– Марина Воронова туживет? – спросил я его.

– Она сейчас не живет, т – сказал Колька, – она за водой пошла.

Я сошел с крыльца и увидел Маринку, входившую с ведрами в калитку. Заметив меня, она даже подалась назад и покраснела так, что мне стало ее жалко.

– Вот принес валенки, – сказал я вместо «здравствуй».

– Не налезли? – виновато спросила Маринка. Ближнее ко мне ведро раскачивалось на коромысле, и вода плескалась на мои сапоги.

– Налезли, – сказал я, – но приказано вернуть. Все. Ясно?

– Ага, – сказала Маринка. – Сейчас выйду. Подождите...

Я подобрал валенки и пошел со двора, но меня окликнул Колька:

– А ты красноармеец или командир?

– Командир, – сказал я, и в это время из сеней вышла Маринка, и я был благодарен Кольке за его вопрос: мне казалось, что она тоже не знает, что я лейтенант, хоть и младший.

По улице села мы прошли молча – я впереди, а она сзади, и когда на околице я оглянулся, Маринка остановилась и начала хохотать, как сумасшедшая, взглядывая то на мое лицо, то на валенки. Конечно, я, наверно, был смешон до нелепости.

– Ну и что тут такого? Подумаешь! – сказал я, выронил валенки и пнул их ногой. Обесилев от смеха, Маринка повалилась прямо на снег. Я кинулся к ней и губами отыскал ее рот.

– Увидят же... все село... бешеный, – не просила, а стонала она, да мне-то что было до этого? Хоть весь мир пускай бы смотрел!

Кое-как мы дошли до амбара, – как только она начинала хохотать, я бросал валенки и целовал ее. На крыльце амбара она пожаловалась:

– У меня уже не губы, а болячки. Хоть бы не кусался...

– Больше не буду, – сказал я.

– Да-а, не будешь ты...

Разве мог я после этого сдержать свое слово?

Когда я вернулся в окоп за очередной порцией валенок, взвод мой гудел, как улей:

– Товарищ лейтенант! Давайте отнесем разом, и шабаш! Что же вы будете мотаться один до обеда?!

Знали бы они, что я согласен «мотаться» так не только до обеда, а хоть до конца своей жизни. Конечно, я не позволил бойцам помочь мне, сославшись на приказ Калача...

Подходя к амбару, я еще издали услышал музыку Маринкиного голоса. Она пела «Брось сердиться, Маша...»

То, чего я больше всего боялся и не хотел – возможного марша вперед, – в этот день не случилось: мы остались на месте. Я чуть дожид до темноты: в двадцать ноль-ноль мы договорились с Маринкой встретиться у амбара. Перед моим уходом у нас состоялся с Васюковым мужской разговор.

– Почапал, да? – мрачно спросил он. – А что сказать, ежели начальство явится?

– Скажи, что я забыл свою расписку на валенки. Скоро вернусь.

– Порядок! – сказал Васюков. – Гляди, распишись там как положено. В случае нужды – свистни. Поддержу...

Я поманил его подальше от окопа.

– Если ты хоть один раз еще скажешь это, набью морду. Понял? – решенно пообещал я.

– Так я же думал... Я же ничего такого не сказал, – растерянно забормотал он. – Мне-то что?

На следующий день утром через ручей переправилась какая-то кавалерийская часть. Маленькие заморенные кони были одной масти – буланой, и до того злы, что кидались друг на друга. Они грудились в улице села, привязанные к плетням и изгородям, а кавалеристы шли и шли с котелками к нашим кухням. Изголодались, видать, ребята.

День был низенький, туманный и тихий, как в апреле, и все же в обед черти откуда-то принесли к нам девятку «юнкеров». Бомбили они не окопы, а село, и сбросили ровно девять бомб. Я сам считал удары. От них подпрыгивал весь наш пупок, – до такой степени взрывы были мощны и подземно-глухи.

– Железобетонные, – сказал Васюков. – Из цемента. По тонне каждая. Я точно знаю!

– Ну и что? – спросил я.

– А ничего. Воронка с хату. Озеро потом нарождается...

Над селом клубился серый прах; истошно, не по-лошадиному визжали и ржали кони, кричали и стреляли куда-то кавалеристы, хотя «юнкеры» уже скрылись. Я схватил Васюкова за локоть. Он отвел глаза и отчужденно сказал:

– Ну, тут... сам понимаешь. Они могут сейчас завернуть и к нам. Так что решай, где ты должен находиться...

– Пять минут! – сказал я. – Только взгляну, узнаю... Ну?!

Он молчал, и я отвернулся к ручью и стал закуривать.

Удивительно, какая осмысленная, почти человечья мука может слышаться в лошадином ржании!

– Вообще-то можно и сбегать, – сказал позади меня Васюков. – Ну, сколько тут? Двести метров!

Я сунул ему незажженную сигарку и бросился в село.

На улице валялись снопы соломы, колья и слегги заборов – это сразу, а глубже, уже недалеко от Маринкиной хаты, я увидел огромную, круглую воронку, обложенную метровыми пластами смерзшейся земли. Рядом с нею, у раскиданного плетня, высокий смуглолицый кавалерист, одетый в бурку и похожий на Григория Мелехова, остервенело пинал сапогами в разорванный сизый пах коня, пробуя освободить седло. Конь перебирал, будто плыл, задранными вверх ногами, тихонько ржал, изгибал длинную мокрую шею, заглядывая на свой живот, и глаза у коня были величиной в кулак, чернильно-синие, молящие.

Через минуту я увидел – нет, не Маринкину еще – разрушенную хату. Наверно, тут было прямое попадание, потому что даже печка не сохранилась. Да там вообще ничего не уцелело. Просто это была исковерканная куча бревен и соломы, осевшая в провал.

В тесовой крыше Маринкиной хаты, прямо над сенцами, темнела большая, круглая дыра. Во дворе и на крыльце валялась пегая щепка дранки. Я решил, что крышу прободал осколок. Цементный. Но дыра была чересчур велика, и у меня похолодело во рту: «Бомба замедленного действия!» Я мысленно увидел ее почему-то никелированно-блестящей, тикающей и побежал со двора пригнувшись, как бегал в детстве с чужих огородов. Я то и дело оглядывался и видел белую дверь и веревочку, а пониже ее, там, где вчера было «Маринка дура» – бурое продолговатое пятно. «Стерла, чтобы я опять когда-нибудь не прочитал», – понял я и повернул назад.

Дверь я открыл с ходу, плечом, и в полутьме сеней, под белым столбом света, проникавшего в дыру крыши, увидел лошадь. Она лежала комком, подвернув под себя ноги и голову, и на ее мертвой спине выпячивалось и блестело медной оковкой новенькое комсоставское седло.

В хате никого не было, но на столе, в крошечке стекла, лежал хлеб, три ложки и стоял чугунок. От него шел пар, – окна на улицу были разбиты. Я заглянул в чулан и позвал:

– Есть кто-нибудь?

– Есть! – слабо донесся откуда-то Колькин голос.

– Где ты? – спросил я.

– А тут... В погребе!

Прямо у моих ног приоткрылся люк, и Колька вылез первым, за ним мать, а потом Маринка. Она была непокрытой, и я впервые увидел ее волосы – черные до синевы, в двух косах. Она смотрела на меня так, будто хотела предупредить о чем-то, боялась, видно, что я брякну ей что-нибудь лишнее тут, при матери, и я сказал:

– Лошадь там в сенцах. Убитая. Пришел посмотреть...

– Господи! – запричитала мать. – Да как же она там очутилась? Ваша, что ли?

– Нет, она чужая, – сказал я. – Вечером мы ее вытащим.

В сенцах, увидав пробитую крышу и лошадь, мать сказала, что это не к добру, и заголо-сила. Что я мог тогда сделать для них? Мне даже подарить им было нечего...

Васюков сказал, что я отсутствовал ровно восемнадцать минут. Я сообщил ему о лошади.

– С седлом? – спросил он.

– С седлом.

– Хорошее?

– Новое. Комсоставское.

– Порядок! – сказал он. – Пригодится.

– Для кого?

– Ну, мало ли! Может, довоюемся до майоров, а тут такой случай... Они же уходят, видишь?

Конники покидали село, уходя в тыл. Некоторые шли пешком, неся уздечки и седла.

Вскоре во взвод явился связной Мишенина.

– Младший лейтенант Воронов! К капитану! – прокричал он, глядя куда-то мимо меня.

Все эти связные старших были на один манер: для них мы, командиры взводов, не начальство, которое нужно приветствовать. Сволочи!

Мишенину оборудовали землянку между селом и первым взводом. Землянка получилась роскошная, с печкой и в четыре наката сухих бревен. Значит, мы не уйдем отсюда!

Капитан вызвал всех командиров взводов роты. Совецание было коротким и для меня как праздник – нам предстояло делать проволочные заграждения по эту сторону ручья. Колья – в селе. Проволока – в четвертом взводе. Интересно, откуда она там взялась?

Я побежал в свой взвод и еще издали не прокричал, а пропел, потому что у меня все команды теперь пелись:

– Старший сержант Васюков! Ко мне!

Он, конечно, понял, что я не с плохим вернулся, и точь-в-точь, как я вчера перед Калачом, врезал передо мной каблуками и доложил:

– Помощник командира второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона старший сержант Васюков по вашему приказанию явился!

– Пьяница ты! – шепотом сказал я ему. – Самогонщик! В штрафной захотел?

– Никак нет, товарищ лейтенант! – тоже шепотом ответил он, и мы разом почему-то оглянулись на окоп. Тридцать обветренных, знакомых и дорогих мне лиц, тридцать пар всевидящих и понимающих глаз смотрели в нашу сторону. Что-то горячее, благодарное и преданное к этим людям пронизало тогда мое сердце, и я быстро отвернулся, потому что мог заплакать, а Васюков спросил:

– Ты чего?

– Ничего, – сказал я. – Просто ты пьяница. Самовольщик...

Пока принесли колючку – смерклось, и мы с Васюковым отправились в село «на разведку кольев». Маринка ожидала меня во дворе. Она смущенно поздоровалась с Васюковым, а мне сказала:

– Я думала, уже не придешь...

– У нас так не бывает, – с важностью заявил Васюков. – Что сказано, то сделано. Ну-ка, показывайте, где лошак!

– Лошадь? – спросила Маринка. – Она вон там, за сараем лежит.

– Это почему там? – удивился Васюков. – А седло где?

– Казаки взяли. Которые выволакивали...

Васюков остервенело плюнул, хотел что-то сказать мне, но раздумал.

– Давай хлопочи насчет кольев, – сказал я ему. – Назначь два отделения. А я через час буду. Ладно?

Он посмотрел на свои большие Кировские часы и пошел со двора. Маринка взяла меня за указательный палец и повела за угол сарая. Там, на снегу, обрывая темный, извилистый след, страшной неподвижной кучкой лежала лошадь. Я стал к ней спиной, обнял Маринку и забыл, что я на земле и на войне. Она подалась ко мне и зажмурилась, а минут через пять сказала:

– Мама спрашивала, зачем ты приходил.

– А ты что сказала?

– Колька сказал...

– Что?

– Ну, что ты ко мне...

– А она что?

– Так... Ничего.

– А все же?

– Ну... чтобы это было в первый и последний раз.

Я поцеловал ее, и она, сронив мне на плечо голову, западающим шепотом сказала:

– Ох, Сережа! Пропала, видно, я...

– Почему? – с непонятной обидой к кому-то спросил я.

– Люблю я тебя... Так люблю, что... пропала я!

– Дурочка ты! – сказал я, и почему-то никакое другое слово не было мне нужнее, роднее и ближе, чем это. – Дурочка! Тебя-то уж я не потеряю!

– А я тебя?

– Куда я денусь?

– Не де-енешься! – пропела Маринка. – Я же хоро-ошая, красивая. Ты думаешь, я это не знаю?

– Дурочка ты...

Может, оттого что я в третий раз называл ее так и сразу же целовал, Маринке нравилось это слово...

Второй день уже я не ходил, а бегал. Васюков сказал, что отсутствовал я всего лишь пятьдесят три минуты.

– Недотянул до часа, – не удержался он. – Хотя на войне, конечно, быстрее все делается...

– Будешь болтать – и я дотянусь как-нибудь до твоей рожи. Пьяница несчастный! – сказал я.

– Вообще-то выпить не мешало бы, – мечтательно протянул он. – И какого это черта не дают нам фронтовые сто граммов! Ты не знаешь?

– А ты не знаешь, что на закуску ста граммов полагается фронт? – спросил я.

– Так мы бы занюхали тут чем-нибудь...

Бойцы носили из села колья и бревна. Где они их там брали – было неизвестно. Мы работали всю ночь – врывали стояки для колючки, а за ручьем, по заснеженному лугу, елозили батальонные минеры. Неужели в темноте можно минировать? Что за спешка?

Отделения моего взвода попеременно отдыхали в трех крайних хатах. До сих пор я был только в одной – там, где спал сам. Я пошел туда уже перед утром. До этого я лишь один раз видел хозяина хаты – маленького и щуплого, с русой бородкой и темными, умными глазами.

Он чему-то коротко и недобро засмеялся, когда увидел меня, и я не заметил у него зубов. Может, он засмеялся тогда не надо мной, а просто так. И все же он не понравился мне.

В хате спало третье отделение. Бойцы лежали на соломе, настланной толстым слоем на полу. Командир отделения Крылов стоял посредине хаты и курил. У дверей, прислонясь спиной к притолоке, сидел на корточках – как чужой тут – хозяин хаты. Он взглянул на меня и опять нехорошо как-то улыбнулся. Что за тип? Я прошел в угол и с удовольствием нырнул в солому. В хате было тепло и сумрачно – на завешенном рябой попонкой окне мерцала лампа без пузыря. Интересно, чего этот беззубый хрен оскалывается? Что во мне смешного? Сам-то на всех чертей похож! И дочь – тоже. Я столкнулся с нею вчера, выходя из хаты. У нее такой нос, будто она все время плачет втихую... Любопытно, как ее звать! Феклой, наверно! Я улыбнулся Маринке, обнял солому и стал засыпать. Откуда-то издалека в мое затихающее сознание толкнулся голос Крылова:

– Значит, говорите, отпустили?

– Пришлось выпустить... Видно, не до нас теперь тюремщикам, – шепеляво, но со сдержанно-едкой силой ответил хозяин. Крылов долго молчал, потом почти безразлично спросил:

– И документик имеете?

– А то как же! Дают, – в тон ему отозвался хозяин.

– А он у вас далеко?

– Не так, чтоб слишком...

Я уже был на краю сна и яви, когда Крылов произнес чуть слышно:

– Предъявите мне документ.

– Можно и предъявить, – со спокойной ехидцей сказал хозяин. – Вы что же, старшой тут по таким делам?

– Может, и старшой, – ответил Крылов. Видно, он решил, что я сплю.

– Ну-ну! – поощрил хозяин, и оба они замолчали – Крылов читал документ, и в хате был слышен лишь ровный, покойный храп бойцов.

– Та-ак, – сказал наконец Крылов. – А за что отбывал?

– За что сидел? – будто не расслышал хозяин. – За испуг воробьев на казенной крыше...

Я чуть не прыснул, – здорово придумал мужик, а Крылову ответ не понравился. Он сказал: «Ну, все!» и стал укладываться. Я слышал, как он сердито шуршит соломой, и слышал, как неприятно хрустят колени хозяина, проходившего в чулан...

Весь следующий день мы укрепляли свой берег ручья и снабжались боеприпасами, – мой взвод получил два ручных пулемета, одно ПТР, несколько ящиков патронов, гранат и бутылок с бензином. Калач прибыл на наш пупок в полдень и сам выбрал место для пулеметов и ПТР – на правом фланге, так как соседей там у нас пока не было. Он опять накричал на меня, но уже не за кооперативное имущество, а за беспечность при распределении бойцов на отдых.

– Что за человек, у которого ты дислоцируешься? – спросил он.

– Маленький такой, – сказал я.

– А мне плевать, большой он или маленький! – покраснел Калач. – Найдите другое место! Мало вам пустых изб, что ли? Залезают черт знает куда!..

Всем остальным майор остался доволен. Он спросил Мишенина, ознакомлен ли я со схемой минного поля впереди ручья, и ушел. Интересно, за что он меня не любит? А вот капитан любит, я ведь это вижу и знаю. И я люблю его тоже.

Я рассказал Васюкову о хозяйине хаты и о Крылове.

– Все ясно, – сказал он. – Сознательный малый. Один на весь взвод оказался... Валенки – тоже его работа! Что ж, бдительные люди нам с тобой позарез нужны... Как ты думаешь, не закрепить ли ПТР за младшим сержантом Крыловым? Оружие это грозное, отношение к себе требует бережное. Доверим?

– Конечно, доверим, – сказал я.

В двадцать ноль-ноль я был за углом сарая как штык. Маринка уже ждала меня, и я снова стал спиной к убитой лошади и полетел над землей.

– Давай уйдем отсюда. Нехорошо как-то тут... – сказала Маринка.

– А куда? – спросил я.

– К амбару.

– Я на один час только...

– А мы бегом.

– Ну давай, – сказал я, и мы побежали по огородам, и она держала меня за указательный палец, как маленького. Крыльцо амбара было припорошено снегом, и я стал разметать его шапкой, а Маринка наклонилась ко мне и изумленно-испуганно спросила на ухо:

– Что ты делаешь?

– Сядем, – сказал я. – Ты не бойся... Я же обещал...

Я притянул ее к себе на колени и ощутил грудью стук ее сердца – как у голубя.

– Дурочка! Что ты во всем этом понимаешь!

– В чем? – спросила она.

– В том, какая ты у меня... В нашей с тобой любви.

– Непутевая она у нас... Если б не война!..

– Тогда бы я не встретил тебя.

– А я и без тебя встретила б!

– Кого?

– Как кого? Тебя. Ты где жил?

– В Обояни.

– Ну и приехала б!.. А там у вас одеколон делают?

– Кирпичи, – сказал я.

– Обоя-ань... Расскажи мне о себе. Все-все!

Я рассказал все-все и сам удивился тому, как это было немного. Мы жили с матерью в Медвенке. Это райцентр. Мать была там учительницей. Я закончил десятилетку, но не в Медвенке, а уже в Обояни: в 1937 году маму уволили, а меня исключили из комсомола. За что? У нас было несколько томов «Отечественной войны 1812 года», и мы с матерью знали всех генералов от Барклая-де-Толли до Тучкова-третьего. Ну, вот за этот интерес к русским генералам... А в Обояни я вступил в комсомол снова. Скрыл прошлое – и вступил!

– Приняли? – спросила Маринка.

– Кто? – не понял я. – Те, что исключали?

– Да нет, вообще.

– Приняли. – И я ругнулся, так, чтоб отвести душу.

– Не ругайся, – попросила Маринка. – Ты очень любишь ругаться. Прямо как мой отец.

Он тоже часто выражался...

– А где он? – спросил я.

– На фронте... Два месяца нету писем... Где это Шклов находится, не знаешь?

Я подумал о своем последнем письме маме, посланном еще из Мытищ, о крыше и выбитых окнах в Маринкиной хате, о погребе и Кольке, и что-то обидное шевельнулось во мне к самому себе. Почему-то мне вспомнилось, что самым ненавистным словом у мамы было «проходимец». Хуже такого определения человека она не знала.

– Ты чего замолчал? – спросила Маринка.

– Думал, – сказал я.

– О чем?

– О себе... И о тебе тоже... Знаешь, у нас все с тобой должно быть хорошо и правильно!

Давай поженимся...

То, что я сказал – поженемся, – отозвалось во мне каким-то протяжным, изнуряюще благостным звоном, и я повторил это слово, прислушиваясь к его звучанию и впервые постигая его пугающе громадный, сокровенный смысл. Наверно, Маринка также ощутила это, потому что вдруг прижалась ко мне и притаилась.

– Поженемся! – опять сказал я.

– Что ты выдумываешь, – произнесла наконец Маринка. – Где же мы... Война же кругом!

– Черт с нею! – сказал я. – Мы поженемся так пока, понимаешь? А после войны только будем как настоящие муж и жена. Хорошо?

– Что ты выду-умываешь!..

– Завтра поженемся, в день моего рождения...

– Господи! Что ты говоришь? – воскликнула Маринка, и в эту минуту она была очень похожа на свою мать, когда та увидела лошадь в сенцах и сказала: «Господи». – У меня же тоже двадцать второго ноября день рождения! Ты вправду?

– Ну да. Двадцать один стукнет. Ты думаешь, я молоденький?

– Не-ет, я и не думала... А мне тоже восемнадцать стукнет. А ты думал, сколько?

– Пятьдесят шесть, – сказал я.

– Что ты! Маме и то сорок пять только!..

– Дурочка ты!..

Возвращался я бегом, и подмерзший снег не скрипел, а пел у меня под ногами, и мысленно я пел сам, и со мной пела вся та ночь – чутко-тревожная, огромная, заселенная звездами, войной и моей любовью. Я хорошо понимал, что моя радость «незаконна», – немцы ведь подходили к Москве, но все равно я не справлялся с желанием поделить свое счастье поровну со всеми людьми.

В окопе с дежурным отделением был Васюков.

– Как дела? – спросил я его.

– Все в порядке, – ответил он. – А у тебя?

Мы сошли с ним к проволочному заграждению, широкой кривулиной уходившему в лунно-дымную даль центра обороны. На кольях и на колючей основе проволоки мерцали блески легкого инея, и все это безобразное нагромождение казалось теперь осмысленно безобидным, нарядным, кружевным.

– Послушай, Коля... Понимаешь, я женюсь! Завтра женюсь, – бессвязно и благодарно сказал я Васюкову. Он посмотрел на меня, отступил в сторону и спросил, давясь хохотом:

– Только жениться? А иначе, значит, никак? Молодец девка!..

Я ударил его дважды, и в окоп мы вернулись порознь.

Никто из нас по-настоящему не нюхал еще войны. Пока что мы ощущали ее морально и только немножко физически, когда рыли окопы. Мы не встречали ни убитых, ни раненых своих, не видели ни живого, ни мертвого немца. Мы видели лишь – да и то со стороны – вражеские самолеты. Они всегда пролетали большими журавлиными стаями, и рев их надолго заполнял небо и землю. Я никогда не слышал, чтобы в этот момент кто-нибудь произнес хоть слово. Тогда бойцы почему-то избегали смотреть друг на друга, торопились закурить, и лицо у каждого было таким, будто он только что получил известие о несчастье в доме. Зато надо было слышать тот по-русски щедрый приветственно напутственный и ласковый мат по адресу своего самолета, когда он появлялся в небе! Заслушаешься и ни за что не утерпишь, чтобы не прибавить чего-нибудь и от себя...

Утро дня моего рождения выдалось крепким, ясным и звонким. Взвод занимался гречневой кашей с салом, когда над нами появился странный самолет с прямоугольным просветом в фюзеляже. Такого я еще не видел. Небо было бирюзово-розовым, и самолет казался на нем,

как грязная брызга. Он повис над нашим окопом, и мы отчетливо видели белые кресты на его крыльях и слышали натужно вибрирующий гул моторов.

– Разведчик ихний, – не глядя на меня, сказал Васюков. – Разрешите мне из ПТР... Может, ссажу!

Я сказал: «Действуйте» – мы были теперь на «вы», – и он бросился к Крылову за ружьем, но долго не мог прицелиться – самолет кружил прямо над нами, а длина ПТР достигала двух метров, и его не на что было приладить.

– Кладите ствол на меня! – приказал я и уперся руками в стенку окопа. Васюков так и сделал. Ствол ружья плотно прилегал к моему левому уху, и я на всякий случай зажмурился и раскрыл рот. Выстрел я ощутил спиной и головой, наверно, так чувствуешь себя после удара колом.

– Ну, что? – крикнул я.

– Не берет сразу, – отозвался Васюков. – Станьте-ка повыше...

Я стал, а он, повозясь и побряхтев сзади меня, снова ударил.

– Ну? – крикнул я.

– Не берет, гад! Станьте пониже...

– Стань сам, раз не умеешь стрелять! – сказал я, но сразу мне не удалось освободиться от ружья, – Васюков, видать, налег на приклад, заорав что-то несурзкое:

– Ага-а, располупереэтак твою...

Взвод тоже орал. Я не сразу поймал глазами самолет и закричал вместе со всеми: он кривобоко тянул на запад, пачкая небо серым, бугристым следом дыма. По нему бил теперь весь батальон, и я не знал, как же мне доказать Калачу, что разведчика подбил мой взвод? Он может и не поверить...

Я выстроил взвод позади окопа и скомандовал:

– Старший сержант Васюков! Три шага вперед!

Он вышел строевым шагом и стал «смирно».

– За проявленное мужество и находчивость при уничтожении вражеского самолета старшему сержанту Васюкову от лица службы объявляю благодарность!

И тогда с Васюковым что-то случилось. Он насунился, покраснел и ответил чуть слышно:

– Служу... служу Советскому Союзу...

С ума сошел! Разве можно отвечать таким тоном, да еще перед строем! Я повторил благодарность, а Васюков взглянул на меня плачущими глазами, махнул рукой и пошел в строй, как больной.

Очумел мужик! Я распустил строй и кивнул Васюкову, чтобы он остался на месте. Он и в самом деле плакал. Не по-настоящему, а так, одними глазами.

– Ты чего? Обиделся за вчерашнее? – спросил я. – Нашел тоже время... сводить личные счета!

– Да нет, – сказал он и высморкался в полу шинели. – Это я так... Подперло что-то под дыхало... Сам посуди: летают как дома... Почти половину России захватили; а мы...

– Да ты же подбил его, чудака! – сказал я.

– Конечно подбил. А где? Под самой Москвой? А, как будто ты сам не понимаешь!.. Выпить бы сейчас, а?

– Ты... извини, пожалуйста, за вчерашнее, – попросил я. – Ладно?

– Ладно, за тобой останется... На свадьбу только позови, – полусерьезно сказал он.

Я напрасно беспокоился: самолет был учтен за нашим взводом. Капитан Мишенин вынес нам с Васюковым благодарность. Мне вроде бы не за что, но старшим возражать не положено.

А день выдался как по нашему с Маринкой заказу. Впервые хорошо и глубоко проглядывалось поле впереди ручья. Оно поднималось на изволок, и почти на горизонте виднелись

сквозные верхушки деревьев и пегие крыши построек. Справа, где у нас не было соседей, голубел лес. Он тянулся по пригорку и чуть ли не вплотную подступал к тому, еле видимому селению. Временами оттуда прикатывались к нам невнятные орудийные выстрелы и широкие, осыпающиеся гулы. У нас это никого не тревожило – даже синиц. Они густой стайкой сидели на проволочном заграждении – и хоть бы что.

Я все время был в окопе. Васюков давно ушел на батальонную кухню. Оттуда он должен был зайти в знакомую хату насчет выпивки. Для этого я дал ему пару своего запасного фланелевого белья. Вернулся он немного выпивши, – не утерпел человек.

– Полный порядок! – доложил. – Есть кусок сала и полная писанка... А на кухне достал пару банок трески в масле. Хватит, я думаю. Хлеб-то там найдется?

– Не знаю, – сказал я.

– Как же так? Зять, а положение тещи не знает! Ты хоть видел ее?

– Один раз.

– И как она к тебе?

– Так себе...

– Не понравился, выходит?

– Война. Сам понимаешь...

– То-то и оно! И не крути-ка ты, командир, девке голову. Слышишь? Она же своя. Русская... И честная, видать...

– Старший сержант Васюков! Кто тебе помог подбить самолет и первый вынес благодарность? – спросил я.

– Ну, ты.

– Не «ну, ты», а младший лейтенант Воронов! И я запрещаю тебе обсуждать его действия, потому что он малый хороший, а не какой-нибудь там пьяница, как некоторые.

– Ясно. А выпить хорошему малому не хочется?

– Хочется. Но надо подождать до вечера.

– Тогда отнеси все туда. А то у меня такой настрой, что могу не вытерпеть. Самолет все-таки подбил я.

Мы сошли к ручью, и там в кустах краснотала я забрал у Васюкова писанку, консервы и сало. «Приду, – думал я, – положу все на стол и скажу: вот бойцы, командиры и политработники нашей части прислали подарок... на день рождения вашей дочери... Нет, это глупо. Скажу что-нибудь другое...»

На дворе я увидел Кольку, и он еще издали сказал:

– Хочешь поглядеть, сколько у нас крови?

– Где? – испугался я.

– В сарае. Маринка петуха зарезала. Варится уже...

У меня больно и радостно ворохнулось то знакомое чувство благодарности и преданности к Маринке, которое я испытывал тогда в амбаре, когда подарил ей сахар, и я схватил Кольку и поднял на руки. У него соскользнули на снег валенки – велики были, и когда я присел и стал обертывать его ноги ситцевыми ветошками, на крыльцо вышла мать.

– Ну чего ты залез к чужому человеку? Маленький, что ли! – крикнула она Кольке.

– Я не залез, это он сам, – ответил Колька. Я поздоровался с матерью по команде «смирно». Она велела Кольке идти в хату и скрылась в сенцах.

– Позвать Маринку? – сочувственно посмотрел на меня Колька.

– А мать не заругается? – спросил я.

– Что ты! Она уже ругалась. За петуха...

Маринка выбежала в одном платье. Я снова будто впервые увидел ее – невообразимую, с громадными черными косами, с свадьбой в глазах. Я взглянул на них, как на солнце, и сказал:

– Принес вот кой-чего...

Я начал доставать из карманов сало и консервы, а Маринка оглянулась на хату и схватила меня за руки.

– Не надо сейчас, спрячь скорей! Лучше вечером... И не говори ничего маме... Потом я скажу ей про все сама...

– Я очень не нравлюсь ей? – спросил я.

– Она же не знает, какой ты...

Первый раз в своей жизни я поцеловал тогда руку девушке. Маринка ахнула, вырвала руку (она пахла палеными перьями) и почти гневно сказала:

– Ну зачем ты так? Что я тебе, чужая?!

Этот день и угас ярко, – солнце закатывалось чистым, малиновым, и оснеженное поле за ручьем тоже было малиновым, жарко сверкающим. На нем, прямо перед нашим окопом, колготилась большая стая ворон и галок. Васюков сказал, что это они к морозу рассаживаются на ночь на земле.

– Они всегда это чувствуют, – сказал он. – А вообще ворона ни к черту птица. Несчастье вещует, яички соловьиные пьют...

Он оглядел горизонт, потом долго прислушивался, обратив на запад левое ухо, хотя там ничего не было слышно, кроме заглушенного пространством, еле различимого моторного гула.

– Ну, что ты слушаешь? Там фронт, – сказал я.

– Думаешь, фронт? – странно спросил Васюков.

– А что же?

– Черт его знает. Может, просто немцы одни...

– Не распространяй в тылу панику, – сказал я. – Лучше обернись назад.

За селом и над ним проникновенно-обещающе зеленело небо, и на нем уже высеивались желтые просинки звезд. Оттуда, с северо-востока, тянуло подвальным холодом, и редкие, белевые дымки, выползавшие из труб сумеречных хат, манили к уюту, огню и разговору шепотом.

Васюков оглядел все это – небо, село, витые столбики дымов – и, повернувшись ко мне, сказал:

– Слушай, Сергей. Ты давай справляйся без меня. Ладно? Я, понимаешь, не могу так... обманывать девку на глазах у матери!..

Что можно было ему ответить?

Хату освещала знакомая мне по амбару «летучая мышь». Из окон выпячивались разноцветные узлы-затычки. Стол был подвинут к печке и застлан чем-то новым, большим и белым, простыней, наверно. Около него сидел и томился Колька, одетый в свежую рубаху. Мать стояла в проходе чулана с полотенцем в руках. В ситцевом белом платьишке Маринка шла ко мне от окна, напряженно глядя перед собой и закинув назад голову. Все это в единый миг я вобрал в себя глазами и сердцем, стоя у дверей навтыжку. Я по-военному, чересчур громко поздоровался, и мать не ответила, а Колька засмеялся. Маринка сказала: «Здравствуйте» – и попросила проходить вперед. Я шагнул к столу, положил на него консервы, сало и писанку и сказал матери:

– Извините... тут вот наши бойцы прислали вам... на день рождения.

Она усмехнулась, взглянула искоса на Маринку и сказала:

– Что ж, спасибо им... Садитесь, гостем будете.

– Раздевайтесь, пожалуйста, – предложила Маринка.

– Холодно же у нас, – сказала мать.

Но я снял шинель, и когда вешал ее у дверей, то чувствовал, как люто горит мой затылок, – наверно, от него можно было прикурить. Я долго возился с шинелью, придумывая, что

бы такое еще сказать матери, когда обернусь, и вдруг вспомнил – никому не нужное тут – и пошел к ней мимо испугавшейся Маринки.

– Извините, – сказал я, – вы, случайно, не знаете, за что сидел хозяин четвертой хаты с краю... Маленький такой?

Я спросил с таким видом, будто именно это и привело меня сюда, и мать посмотрела сперва на меня, потом на Кольку.

– Маленький? Не знаю, – оробев, ответила она.

– Это, наверно, Устиночкин Емельян, – обрадованно сказала Маринка. – Он недавно только вернулся.

– У него еще дочь некрасивая такая... Вроде она плачет все время, – напомнил я.

– Это Мотька, – засмеялась Маринка. – А отец ее сидел за Северный полюс... Помните, когда папанинцев спасали? Ну вот, тогда у нас проходило общее собрание. Уполномоченный из Волоколамска проводил. Насчет героизма. И другие про героизм да про героизм... А Емельян на взводе был... Встал, да и болтнул: пусть бы в нашем колхозе перезимовали. И все. А на третий день его забрали...

Я мысленно увидел Емельяна на собрании, – он, конечно, сидел с сигаркой возле дверей, маленький, в большой заячьей шапке, – вспомнил его ответ Крылову, когда тот спрашивал, за что он «отбывал», и захохотал. Глядя на меня, заливался Колька, смеялась Маринка, улыбалась, хоть и невесело, мать, и когда я кое-как спросил, в какой шапке был на собрании Емельян, и Маринка ответила: «В заячьей», я уже не мог стоять и повалился на скамейку...

Так злополучный Емельян и этот мой нечаянный, бездумный смех помогли мне в тот вечер: у Маринкиной матери оттаяли глаза; она взглянула на меня уже без прежней настороженной отчужденности.

– Родители-то хоть есть у вас? – спросила она.

Минут через пять мы сидели за столом. На нем стояли миска с огурцами и тарелка с петушиной. Нам с Колькой мать положила ножки. Я откупорил писанку и наполнил три стакана изжелта-сизым самогоном. Мы с Маринкой взглянули друг на друга и разом встали.

– Давайте, – начал я не своим голосом, – выпьем за...

Я не знал, что нужно сказать дальше, и взглянул на Маринку. Она неувовимо повела головой – «Не говори!», – и в это время мать сказала:

– За то, чтобы все вы живы остались...

У нее навернулись слезы, и к самогону она не притронулась, а мы с Маринкой выпили свой до капли. Мать удивленно посмотрела на Маринку и спросила почему-то не ее, а меня:

– С ума она сошла, что ли? Сроду не пила, а тут целый стакан выдуганила!

Я почувствовал, как хорошо, ладно и нужно улегся в мою душу этот обращенный ко мне вопрос, и, подстегнутый радостью сближения со всеми и всем тут, сказал:

– Больше она у меня не получит!

В мой сапог под столом трижды и мягко торкнулся Маринкин валенок – «Молчи, молчи, молчи», но мне уже не хотелось молчать. Я оглядел затычки в окнах и сказал:

– Завтра вставлю стекла. Найду где-нибудь и вставлю...

Мать ничего не ответила и вдруг прикрикнула на Кольку, чтобы он не тарасился. Маринка резко толкнула мою ногу, и я запоздало понял, что о стеклах сболтнул зря.

– Мам, а он тоже Воронов, – сказала Маринка.

– Теперь, дочка, все вороны... все с крыльями. Нынче тут, а завтра нету! – назидательно ответила мать и поднялась из-за стола. Я тоже встал, завинтил пробку на писанке и пошел за шинелью. «И пусть. Подумаешь! И не надо! И нечего меня провожать», – думал я, неведомо за что разозлясь на Маринку и прислушиваясь к ее шагам, шуршащим по полу хаты.

Я оделся, и когда обернулся для прощания, то лицом к лицу увидел Маринку в телогрейке и шали.

– Чтоб недолго! – приказала ей мать.

Во дворе Маринка приблизила ко мне свое лицо, и я увидел, что она готова заплакать. Я поцеловал ее в глаза, и она всхлипнула и спросила растерянно, обиженно:

– Мы уже поженились? Больше ничего?

Я взял ее за руку, и мы побежали «к себе», к амбару. Мы бежали молча, и под шинелью у меня звонко булькала писанка, и с каждым шагом больно разрасталось мое сердце, набухая ожиданием чего-то неведомо, неотвратимо зовущего и почти страшного.

На промерзло-гулком крыльце амбара мы зашли в сумеречный угол, и я загородил собой Маринку от ветра и взял в ладони ее лицо. Оно было горячее и мокрое.

– Ну чего ты плачешь? Дурочка, ворониха моя...

– Я же... У меня же ключи от амбара, – напевно сказала Маринка и заревела по-детски, в голос. Я опустил на корточки, обнял ее круглые, испуганно вздрагивающие колени и стал утешать и придумывать для нее слова и названия, не существовавшие в мире. И когда слова иссякли и голос мой стал чужим, толстым и хриплым, я поднял Маринку на руки и понес домой. Я часто спотыкался на огородных грядках, и каждый раз затихшая Маринка поднималась и становилась так, чтобы мне удобнее было снова взять ее на руки...

Во дворе мы молча и трудно расстались, и я побежал к себе в окоп. Западный горизонт был уже не малиновый, а чугунно-серый, остывший, и там, где днем проступали верхушки деревьев и крыши построек, в небе вдруг расцвели и падуче рассыпались две большие мертво-зеленые звезды.

В окопе дежурили два отделения. Не взглянув на меня, Васюков сказал отрывисто, зло:

– Видал ракеты? Это не наши.

Минут пять спустя я получил приказание капитана Мишенина привести взвод в боевую готовность...

Вороны так и просидели всю ночь в поле. Они начали колготиться, когда уже совсем развиднелось, но с места не снимались, и Васюков сонно и брезгливо сказал:

– Шарахнуть бы по ним залпом, что ли!

Я не успел ответить ему: воронья стая взгаркнула и разом взмыла двумя косяками, будто расчлененная ударом кнута, и через наш окоп с гнетущим воем перелетела мина. Она взорвалась недалеко от Емельяновой хаты. Мы все пригнулись и тут же выпрямились, но в поле за ручьем возникли тонкие жала новых запевов, с каждым мигом нарастающих, проникавших в душу мятным холодком страха. Мины взрывались где-то в глубине дворов, но мы кланялись полету каждой. Я стоял в окопе спиной на запад, – для меня все мины попадали в Маринкину хату, – и бойцы тоже обернулись лицом к селу. Только Васюков все время смотрел в сторону немцев. Не оборачиваясь, он сказал мне ворчливо, тоном старшего:

– Ну чего ты переживаешь? Она давно сидит в погребе... И вообще мина пробивает только крышу, а потолок не берет, ясно?

Я обернулся к западу, и то же самое взвод проделал, как по команде. По склону поля слепяще сиял снег, – солнце взошло по-вчерашнему, и мы опять отчетливо увидели вдали фиолетовые верхушки деревьев и приплюснутые крыши построек.

– Оттуда бьют, – раздумчиво сказал Васюков. – Что, если из ПТР садануть по ним, а? Тут, пожалуй, не больше трех километров.

Он, конечно, и сам понимал, что противотанковое ружье – не гаубица, но мы же были пехота!

– Давай садани, – сказал я, и, когда он с Крыловым устанавливал ружье на бруствере окопа, оно, после вчерашнего случая с самолетом, показалось мне грознее и таинственнее, чем было на самом деле. При выстреле приклад резко отталкивал Васюкова, и он каждый раз произносил одно и то же ругательство, а бойцы натужно кричали, не то разделяя с ним толчок,

не то прибавляя этим вес крохотному снарядику ПТР. После пятого раза я махнул Васюкову рукой – хватит! Он опростал ружье от дымящейся гильзы и плюнул через бруствер, а я подумал, что гильзы нужно потом незаметно собрать и подарить Кольке.

Минный налет длился минут тридцать, затем был часовой перерыв, а потом опять обстрел, и снова затишье. Ни одна мина не взорвалась вблизи наших окопов, – падали в селе, и Васюков дважды еще разъяснял мне, что они не пробивают потолок хаты.

В полдень – в момент затишья – на наш пупок прибыли майор Калач, начальник штаба батальона старший лейтенант Лапин и капитан Мишенин. Я встретил их шагах в пяти от окопа рапортом о том, что во втором взводе третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона никаких происшествий нет. Калач и Лапин слушали меня «вольно», а капитан Мишенин «смирно», держа правую ладонь у каски. Он поздоровался со мной за руку, глядя на меня так, будто хотел сообщить что-то по секрету, но в это время Калач сказал:

– Младший лейтенант! Слушайте меня внимательно. Сейчас вы отправитесь в разведку боем. Ваша задача – выявить в населенном пункте Немирово силы врага, разведать и зафиксировать его огневые средства и точки... Подробную инструкцию получите у начальника штаба. Ясно?

– Так точно, товарищ майор! – ответил я и спросил: – Один пойду?

– То есть как это один? – сердито сказал Калач. – Пойдете с двумя отделениями!

– Может быть, вызвать добровольцев, как мы и думали? – вкрадчиво спросил Калача Лапин. Майор кивнул, и Лапин красиво поставленным голосом проиграл:

– Внимание! Товарищи бойцы! Кто хочет добровольно пойти в разведку боем? Нужно пятнадцать человек!..

Из окопа выпрыгнул Васюков, и в наступившей тишине было слышно, как у него под шинелью звонко булькнула писанка. Он оторопело взглянул на меня, затем на Калача, и тот сразу же приказал:

– Старший сержант, останетесь здесь за командира взвода!

Васюков козырнул, четко повернулся, и невидимая на нем писанка опять вкусно булькнула, а я отвернулся, чтобы спрятать лицо.

– Есть добровольцы? – снова пропел Лапин. Я посмотрел вдоль окопа. Бойцы занято суетились, переступая с ноги на ногу, и каждый поправлял на себе что-нибудь: ремень, противогаз или патронташ, и у каждого был сосредоточенно-напряженный вид – вот-вот человек выпрыгнет из окопа, как только приведет на себе в порядок «вот эту штуковину». Но «штуковина» почему-то не поддавалась усилию рук, – видно, с ними боролось за что-то сердце, – и тогда Калач спросил:

– Комсомольцы есть?

Первым из окопа выкатился Васюков, – на этот раз майор не остановил его, – за ним готовно, разом, вышли еще двенадцать человек. Они встали рядом со мной лицом на запад, и мы все увидели Крылова. Он расслабленно вылезал из окопа, волоча ПТР, и лицо его было белым как снег. Белыми, косящими к переносице глазами, он смотрел куда-то сквозь нас, во что-то далекое, неведомое и страшное. Глядя на него, я ощутил, как мгновенно отмерзли у меня пальцы ног, а в груди стало пусто и горько. Я хотел посмотреть на своих добровольцев, но не мог отвести глаз от Крылова, – я как будто видел в нем все то, за чем мы должны идти сейчас туда, на запад... Он уже подходил к нам, когда я услышал голос Калача:

– Товарищ Крылов! Оставайтесь с ПТР на месте!

Крылов округло повернулся и зигзагами пошел к окопу, обняв ПТР...

После инструктажа нам принесли обед, но есть не хотелось. Мы сдали парторгу роты комсомольские билеты и все «личные вещи». Каждый взял десять обойм патронов к своей винтовке, четыре противопехотные и две противотанковые гранаты. Еще нам придавался руч-

ной пулемет. Нес его Васюков. От окопа к ручью нас провожал капитан Мишенин. Он шел рядом со мной, но смотрел куда-то вбок. Через ручей мы перешли по бревну.

– Ну все, – негромко, хрипло сказал капитан, остановившись на берегу. – Не забыли, где минный проход? Ну все!..

Мы пошли гуськом – впереди я, замыкающим Васюков. Справа от нас по снегу двигались наши голубые тени, и то, что они были тесно-дружные, большие, свои – действовало ободряюще, как что-то живое и нам подспорное. Минное поле кончилось в конце луга, и там, на уклоне поля, мы перестроились в развернутую цепочку. Главным своим флангом я считал левый, потому что начинался он с меня, и я укрепил его Васюковым.

– Как будем действовать, короткими перебежками или...

Он не закончил вопрос, – высоко над нами завизжали мины. Мы пригнулись все, – это ведь получалось невольно, – и вот тогда я услышал Маринкин голос. Он вонзился мне в темя, как нож, и я оглянулся и в слитно мелькнувшей передо мной панораме села увидел на пригорке взрыв и в нем летящую Маринку... Я сразу же зажмурился, отвернулся и побежал вперед, на запад, и со мной рассредоточенной, наступающей цепью побежали все тринадцать человек. У меня не было ни одной стройной, отчетливой мысли, кроме желания не оглядываться, и я тупо ощущал свое тело и не мог задержать бег, – ноги работали самостоятельно. Только потом я понял, почему тогда не оглянулся: в недрах души я не верил тому, что увидел. Мало ли как может еще быть, если ты не знаешь всего до конца!.. Мы бежали долго, и, когда пошли шагом, Васюков тронул меня за локоть:

– Может, глотнешь, а?

Он совал мне писанку, а сам оглядывался назад, и я спросил:

– Ну? Что там?.. Ну, говори!

– Да там... ничего уже не видно...

– Унесли?

Ему надо было – я хотел этого – прикрикнуть на меня: «Что унесли?», или «Кого унесли?», или объяснить, что немецкие мины безвредны, но он ответил:

– Да там... все уже. Ты бы глотнул, а?

Я скомандовал бегом, и мы бежали до тех пор, пока из-за белого гребня поля не показались верхушки деревьев.

Деревья вырастали с каждым нашим шагом, и в мое онемевшее сердце постепенно входило новое, могучее и незнакомое мне чувство, сдвигая и руша все то, что там шлаком спеклось и застыло, как уже пережитое. Нет, это не был только страх перед возможной смертью. Смерть что! Я ведь втайне «поспел» для нее в ту самую минуту, когда услышал Маринкин голос и увидел ее парящей в сизом кусте взрыва. Тут было что-то другое, более значительное и важное – и не только мое, личное. Когда показались крыши построек, я взглянул на свой «фронт» и увидел всех бойцов сразу и каждого в отдельности: каждый шел, чуть наклонясь вперед, выставив винтовку и замороженно глядя в какую-то точку перед собой.

Немирово открылось неожиданно, – мы вышли на самый гребень поля, и сразу же над нами прекратился шелест пролетающих мин. Наступила какая-то неверная тишина, – даже снег не скрипел под ногами: мы все замедляли и замедляли шаги, и я заметил, что сам иду как по бревну через ручей, ставя ногу на носок. Наша цепочка сузилась – мы сошлись поплотнее и двигались в створе широкого каменного здания, обращенного к нам глухой стеной. Вдоль нее суетились, готовясь к чему-то, маленькие, серые люди.

– Ну, как будем? Перебежками или так? – не спросил, а прокричал Васюков. И тогда я оглянулся назад. Я искал не Маринку. Я хотел только знать, видят ли нас свои, не идут ли они следом, – нельзя же нам больше оставаться тут одним!.. Но я увидел лишь свои следы на снегу

– четырнадцать длинных и прямых пунктирных линий. Два из них – левофланговые – почти соприкасались и кое-где перебивались: это мы так шли с Васюковым.

– Как будем, говорю? – снова прокричал он мне в ухо. Чудак, разве я знал, как нам быть! Вот если б я увидел кого-нибудь позади себя или шел сюда не в первый, а во второй раз... Если бы до Немирово оставалось немного подальше... Если бы это было ночью, а не днем... Если бы они хоть начали скорей стрелять!..

– Бег-гом! – скомандовал я, и мы побежали, но не споро, почти на месте, и каждый высоко подбрасывал ноги и ставил их крепко и сильно, зарывая в снег, и я знал, для чего это делалось – чтобы быть пониже.

Мы бежали, а немцы не стреляли. Они накапливались вдоль стены каменного здания, возле деревьев и в поле. Их было много. Они размахивали руками, смеялись и что-то кричали нам. Я различал уже лица, не виданные до того автоматы, широкие раструбы чужестранных сапог. Я хорошо видел трех офицеров, стоящих впереди остальных: они рассматривали нас в бинокли. Я бежал и коротко взглядывал раз влево, раз вправо – на своих, раз вперед – на немцев. У моего левого локтя топотал и булькал писанкой Васюков. Пулемет он нес, как кол. Справа с запасными дисками к РПД утиной перевалкой бежал красноармеец Перемот, уралец-старовер с маленькими, черными глазами ворожуна. Еще в Мытищах Крылов доложил мне, что Перемот верующий, – крестик носит латунный. Я сказал тогда, что приму к нему меры, но так и не принял...

Немцы не стреляли и не кричали, упокоив руки на автоматах. Может, по моей команде, а может, и без нее мы изменили тогда направление, забрав правее каменного здания, туда, где немцев было поменьше. Мы бежали молча, тесной кучей, и эта живая, своя теснота была единственной нашей защитой и поддержкой.

– Сереж! Не надо дальше... Перебьют же! Хватит! Я и так все вижу... Все дочиста! Сереж!..

Это кричал мне Перемот, занося поперед моих ног пулеметные диски и заглядывая мне в лицо не черными, а белесо-льдыстыми глазами. Эти чужие у него глаза, диски у меня под ногами, заклинаящий шепотный крик, произнесенное имя мое, а не чин; эта наша братская сутолочь и предказневая тишина у немцев заставили меня скомандовать: «Ложись». Мы рухнули, как бежали – кучей. Перемот протянул руку в сторону Немирово и бредово заговорил:

– Вот тут, за сараем, ихние минометы... Восемь штук. Четыре, значит, больших и четыре маленьких...

– Полковые и батальонные, – раскосо глядя мне в лоб, сказал Васюков.

– Во-во! – подхватил Перемот. – А вон там, под ракетами, танки... Кажись, девять.

– Семь, – торопливо сказал Васюков.

– Пушек вроде не видно, – самозабвенно, на одной ноте твердил Перемот, – стало быть, это пехота. Числом тыщи полторы, а может, чуть побольше...

– Полк, – сказал я Васюкову, и он кивнул. Это заняло у нас не больше тридцати секунд времени, – мы разговаривали на крике, и у нас было полное взаимодоверие. Я уже знал, как нам быть и что делать. Мы сейчас рванемся назад, но не так, как бежали сюда, а по-другому – как убегают от смерти двадцатилетние, а пока немцы одумаются и поймут, зачем мы сюда приходили, мы достигнем гребня поля. Там мы откроем по ним огонь. Они тоже начнут тогда стрелять, и у них будет убито человек девять, а у нас никого!.. Нет, у нас должны быть раненые, но совсем легко и не много – трое. Больше я не хотел для капитана Мишенина, а меньше для майора Калача, – иначе он ничему не поверит...

Мы с Васюковым поднялись одновременно, и я приказал отход, но в это время немцы загалдели и двинулись к нам толпой, будто шли поглазеть на что-то диковинное и несуразное. Трудно сказать, кто первый лег снова лицом к ним – я или Васюков, но думаю, что он, потому что я не услышал своих пистолетных выстрелов: их заглушил васюковский пулемет. Я стрелял

не целясь, так как мне приходилось то и дело оглядываться и кричать своим, чтобы они скорее уходили. Последняя моя команда совпала с разрывом небольшой мины метрах в пяти позади нас с Васюковым. Я увидел приземистый, буро-огненный кустик разрыва, заслонивший убегавшего Перемота. И тут же я увидел над собой рот Васюкова, раскрытый в беззвучном крике...

Я лежал на левом боку. Зрячим у меня был только левый глаз, – на правый сбилась шапка, и левым глазом из-под низу я видел солому и опрокинутые веялки. Они не могли оказаться возле меня даром, и я не мог зазря очутиться тут с ними, и о том, как это произошло, лучше было не думать. Я помнил все – от парящей Маринки до убегающего Перемота, а дальше мне ни о чем не хотелось вспоминать. Я лежал и боялся узнать, отчего мне трудно дышать и чем забит мой рот. Я попытался сплюнуть, но что-то застряло в гортани, и тогда я потянулся рукой ко рту и вытащил темно-розовый длинный шматок. Я зажмурился и второй рукой сунулся в рот. Язык был цел. После этого я откинул от себя то, что достал изо рта, и оно шлепнулось на солому где-то рядом. Я подождал и ощупал петлицы. Кубари были на месте. Оба. Тогда я перевалился на спину и мне открылось и явилось все сразу – боль в спине и где-то внутри, отсутствие ремня и пистолета, пологие заиндевелые стропила, опирающиеся на плотные каменные стены, мысль, что я в плену и лежу в немировском сарае...

Прямо надо мной в крыше сарая светились пять продолговатых, узких щелей. Края серой дранки в этих местах были желтые, свежие. Это, наверно, Васюков просадил тогда из противотанкового ружья. Высоко брал!.. Я заплакал, и ртом пошла кровь. В щели осыпалась снежная пыль. Я раскрыл рот, высунул язык, и кровь прекратилась. А Васюков все же высоко брал. Надо б ниже...

Мне нельзя было ни о чем думать, – тогда начинала идти кровь, но щели все время были перед глазами, и Васюков с Маринкой тоже, и капитан Мишенин, и мой взвод, и Колька, и я сам...

Под вечер я увидел Васюкова. Он сидел у меня в ногах, спиной ко мне, и раскачивался взад и вперед, будто молился. Я лежал и не шевелился: даже если это и не на самом деле Васюков – все равно пусть сидит. Потом, может, увижу еще кого-нибудь...

А Васюков все раскачивался и раскачивался. Я бы мог тронуть его носком сапога – рядом сидит. У него на шинели не было почему-то хлястика, и горб смешно топорщился и ломался. Интересно, пропадет Васюков, если взглянуть на щели в крыше сарая? Я посмотрел на них, – они посинели и померкли, – перевел взгляд и опять увидел Васюкова. Как и до этого. Он сидел и что-то грыз. Раскачивался и хряпал.

– Коль, – позвал я. Васюков дернулся и оглянулся, и я увидел в его руке бурак. Он выронил его в солому и на коленях полез ко мне. На его шапке не было звездочки, а в петлицах треугольников. Нос у него был большой, не его, и сидел на боку. Васюков! Живой Васюков... Он примостился слева от меня и молча поправил на мне шапку.

– Всех? – спросил я.

– Лежи, – сказал Васюков. – Кроме нас да Перемота – никого. Сволочи, бросили...

– А где Перемот?

– Остался там. Да он и не пикнул.

Я подумал, что все вышло так, как я хотел: троих. Троих вполне хватит для майора Калача. А куда же попало Васюкову? По носу только? Нос у него совсем сидел на боку, а серый пух вздыбился на щеках и даже завился колечками. Отрос за время разведки боем, что ли?

– Куда тебе попало? – спросил я. Васюков полуотвернулся от меня и назвал место, какого у него не было. Он сидел и раскачивался взад и вперед. Я положил свою руку на его колено и спросил:

– Меня в спину?

– Наискось... А под мышкой выскочил.

– Осколок?

– А то хрен, что ли!

– Большой?

– Фатает! – сказал Васюков и выругался в прахриста. – Ну что будем делать, а? Если бы ты мог бечь! Кура пошла, фрицы все по хатам сидят...

– Давай сматывайся один, – сказал я. – Мне все равно хана.

Васюков наклонился ко мне и проговорил в глаз:

– Да там и рана-то с гулькин нос. Дня через три присохнет, и все!

Это Васюков врал. Зачем же он говорил об осколке, что его хватает? Для чего хватает? А запекшаяся кровь, которую я вытащил изо рта? Про рану он врал, но это было то, что я всем телом хотел от него услышать. Конечно ж, она с гулькин нос и через три дня присохнет. Присохнет, и все!..

...От края и до края земля засеяна красным маком. Махровые цветы растрепаны и повернуты головками в одну сторону – к маленькому багровому солнцу, встающему над горизонтом. Стебли мака не стоят на месте. Они несутся к солнечной точке, в беге сливаются в сплошной поток чего-то густого и липкого, которое вот-вот смоеет с ног, и тогда я закрывал глаза. Красный поток застывал, медленно превращался в маковый засев, но стебли опять бежали, и я знал, что теперь надо открыть веки. Так продолжалось, пока я снова не увидел Васюкова. Он наплыл на меня лохматым пятном, спросил: «Может, пить охота?» – и пропал в темноте сарая за веялками. Через некоторое время он вернулся и дал мне большой, серый комок снега. Снег вонял махорочным дымом и ружейным маслом, и в нем то и дело попадались остья ржаных колосьев. Как только я съел его, Васюков сказал:

– Главное – ночь протянуть. Если теперь очухаешься, значит – все! Ты не расслаживайся.

Я не расслаживался. Я не чувствовал никакой боли и только мерз. Васюков захватил беремья соломы, навалил ее на меня и сам подлез ко мне с правого бока. Он отыскал мою руку и притих – пульс щупал. Я понимал, что он только Васюков, старший сержант и больше ничего, но под шапкой у меня начали выпрямляться волосы, – я ждал, что он скажет – останусь жив или... Он не дышал, не отпускал мою руку и молчал, и я отодвинулся от него и спросил как в то утро, когда он бил с моего плеча по самолету:

– Ну?!

– Как молоток, – сказал Васюков, и мне сразу стало жарко и хорошо.

В соломе возились и попискивали мыши, и от этого тоже было хорошо. Я подумал о маме, о Мытищах и обо всем, что потом было.

– Ты видел их? Вблизи? – спросил я Васюкова про немцев.

– Полк, – сказал он. – Все точно. Девять танков, шестнадцать минометов. Вот тут, за сараем, стоят... Надо было драпать тогда, и все. А теперь вот...

Он снова ругнулся в прахриста и замолчал. Мне хотелось знать про немцев, про то, что они сделают с нами, и я попытал опять:

– Ты видел их? Какие они?

Васюков не ответил и через некоторое время спросил сам:

– Не знаешь, что по-ихнему петролеум означает?

– Кажется, керосин, – сказал я. – А что?

– Писанку, понимаешь, отобрала. Допрашивали, что в ей такое...

– А ты что?

– Самодельная водка, мол.

– Ну?

– Да ничего. Пить заставили... А после один там хрен моржовый закричал: «Петролеум» – и ударил пустой писанкой... Да мне и не больно было, – сказал Васюков. Он, видно, догадался, что я хотел пододвинуться к нему поближе, и посунулся ко мне сам. Мы немного полежали молчком, потом Васюков сожалеюще сказал:

– Зря валенки тогда не оставили. Крылов, курва, стукнул... Между прочим, тут бураки есть. Цельная куча...

Бураки были сахарные, и мы съели по одному небольшому.

Васюков почти лежал на мне и дышал в мое ухо протяжно и глубоко, – не то меня согревал, не то сам грелся. Пахло от него бураком и чуть-чуть самогонкой, и среди ночи я опять спросил, какие немцы. Он зачем-то перестал дышать, – соображал, наверно, потом сказал:

– Да на вид они, как мы. Одежа только не наша... Зараз бы валенкигодились. Крылов, курва, испортил все...

Когда ты не знаешь, о чем надо думать, – заживет ли рана и через сколько дней, кто такие немцы и что они с тобой сделают, погибла ли Маринка или только ранена в спину навывлет, пришлют ли в твой взвод какого-нибудь младшего лейтенанта или Калач назначит взводным курву Крылова, кто напишет про тебя матери – Лапин или капитан Мишенин, – лучше б Мишенин, потому что письмо у него получится длинней, и мать не сразу начнет плакать, – когда ты не знаешь, об этом или о многом-многом другом надо думать, тогда твое тело, если ты ранен, становится тяжелым, опасным и заостренным, а воздух и земля гудят и вибрируют, и тебе кажется, что тобой выстрелили, и ты летишь под самыми звездами, и вот-вот ринешься вниз, и взорвешься миной.

– Ты не спишь? – хриплым полупшепотом спросил Васюков. – В наступление, наверно, пошли. Чуешь?

За стенами сарая ревели немецкие танки.

– Может, забудут про нас, а?

Васюков просто сказал вслух то, о чем я думал, и мы одновременно, разом, начали углубляться-вдавливаться в солому. В ней внизу непугано и занятно шуршали и попискивали мыши. Пока танки стояли и ревели на месте, гул накатывался на нас сверху, и мы лежали тесно и тихо, как под пролетающими самолетами, – может, не заметят. Но как только танки двинулись и гул сместился и проник в глубину, нас вместе с землей начало трясти мелко и зябко. Мы лежали ногами на запад, – это я определил еще раньше по исходу щелей в крыше сарая, просаженных Васюковым из ПТР, и грохот танков постепенно иссяк впереди нас, на востоке. Васюков спросил меня, не хочу ли я по-маленькому, и лег животом вниз. В эту минуту немцы и начали искать нас в сарае. Мы их не видели, а только слышали: они – вдвоем, видать – лазили в стороне по соломе и раскидывали ее ногами.

– Русен, во зайд ир? Ауфштеен! Шнель!

Говорил один, а второй чему-то смеялся – негромко и нестрашно, как русский. Я знал, что означало слово «ауфштеен», и раскрыл рот, чтобы дышалось тише. Васюков тоже не шевелился, но он, наверно, не мог сразу перестать чурюкать – ровно и напорно, как из спринцовки, и немцы притихли, а потом засмеялись, как смеются люди, и пошли в нашу сторону. Они дважды и слаженно прокричали над нами: «Ауфштеен», и мы с Васюковым не стали ждать, потому что конец чему-нибудь чаще всего наступает на третьем разе. Мы с ним одновременно полезли из соломы, – я головой вперед, а Васюков задом, и прямо у своего лица, в мутно-сизом квадрате распахнутых ворот, я увидел две пары широко и победно расставленных сапог. Голенища у них были плотные, короткие и широкие. Я не стал поднимать голову, чтоб не встретиться с немцами одному, без Васюкова, а он запутался в распушенных полах шинели и никак не мог выбраться из соломенной дыры. Немцы стояли и смеялись. Я сидел на соломе, глядел на их странные сапоги и ждал Васюкова. Он выпростался и сел не рядом со мной, а чуть впереди, почти касаясь коленями сапог немцев. Немцы перестали смеяться и молчали. Васюков взгля-

нул на них из-под локтя и тут же обернулся и обыскал меня коротким, тревожным взглядом. Тогда я поднял глаза на немцев. Они оба были в летних зеленовато-мышастых френчах, и автоматы у них свисали на животы, и оба они смотрели на мои петлицы. Я машинально поднял руку к кубарям и ощупал их, – сначала один, а потом второй. Я подумал тогда сразу о многом – о том, что эти два немца совсем похожи на нас, на людей; что они, наверно, наши с Васюковым ровесники, но что я выше их ростом; что они пришли в сарай так зачем-нибудь, потому что смеялись; что нас с Васюковым не за что и нельзя расстреливать!.. Я думал обо всем этом, гладил свои кубари и смотрел на немцев. Один из них был в очках. Зеленая пилотка сидела на его голове глубоко и прямо, прикрывая лоб и уши, и на кончике его тонкого, зябкого носа висела на отрыве прозрачно-сизая капля. Мне вспомнилось, как в тридцать третьем, голодно-моровом у нас на Куршине году мама сказала, что люди в беде должны опасаться тех, кому хорошо, и я стал глядеть на очкастого, а не на второго, потому что тот был коренастый, в пилотке набекрень и с оголенными руками на автомате. Он стоял в прежней позе, расставив ноги, а очкастый шагнул ко мне и, полунаклонясь, коснулся дулом автомата моего подбородка. Он что-то сказал мне отрывисто и приказательно, и дуло автомата дернулось и замерло у моего лба. Тогда я взглянул на коренастого. Он засмеялся, поднес руку к воротнику своего френча и покрутил пальцами, будто отвергивал шуруп. Я понял и стал свинчивать кубарь. Гаечка заржавела и плотно утонула в сукно воротника, – еще в Мытищах я прикрутил кубари так, чтоб держались насмерть. Я ощущал горько-железную вонь автомата, боль в косо сведенных на него глазах, а гайка не ухватывалась, потому что пальцы свивались и подламывались. Я попытался вырвать кубарь с «мясом», но очкастый крикнул: «Найн», и я позвал Васюкова. Он легко справился с кубарем и протянул его на ладони очкастому немцу. Тот выпрямился и достал из кармана френча черный лакированный бумажник. Васюков оглянулся на меня и что-то сказал, но немец в это время взял с его ладони кубарь и раскрыл бумажник. Одна половина его внутренней стороны была густо унизана золотыми, эмалевыми и серебряными знаками отличий неизвестных нам с Васюковым армий, а на второй кровянились одна наша шпала, один ромб и сержантский треугольник. Мой кубарь немец поместил правильно, – между шпалой и треугольником, и горел он ярче всех остальных, потому что носил я его недолго...

Когда очкастый спрятал бумажник и качнул на себе автомат, я снова взглянул на коренастого. Он отрицательно повел рукой, проговорил: «Найн» – и пошел ко мне мимо очкастого и Васюкова.

– Вильст раухен?

Смысла его фразы я не понял, но кивнул головой, потому что тон голоса был участливый, и я решил, что немец спрашивает о моей ране. Он сказал: «Битте» – и протянул маленькую, на пять сигарет, голубую коробку с серебряным исподом. Там были две сигареты, и я ухватил одну, и в моих пальцах она превратилась в три, и было три голубые коробки и три чужих руки, – глаза заплакали сами, без меня. Васюков почти вплотную притянул голову к руке немца, – разглядывал коробку, и немец дал ему сигарету вместе с коробкой. Я знал, что мне нельзя закуривать, но коренастый держал передо мной горящую зажигалку, и когда я потянулся к ней, Васюков сказал: «Не дури!» – и забрал у меня сигарету. Он сунул ее под шапку, за ухо, а свою прикурил под непонятный окрик очкастого: тот перехилился к нему и кивал у своего носа длинным, красным пальцем, будто подзывал. Васюков вопрошающе глянул на меня, блаженно дымя из обеих ноздрей.

– Он, наверно, требует мою сигарету, – сказал я. – Отдай скорей!

– Вот же ж падла! – тихо и искренне проговорил Васюков и достал сигарету. Он нехотя протянул руку вперед, зажав сигарету всей пятерней. Очкастый склонился еще ниже, выискивая, как ее выбрать, и вдруг, как кот лапой, брезгливо махнул рукой на васюковский набрякший кулак и сказал: «Шайзе». Коренастый немец стоял и смеялся, глядя на Васюкова удивленно и ожидающе...

Они ушли и заперли ворота на засов.

Мы остались вдвоем.

На мне оставались еще три кубаря в петлицах и четыре серебряных галуна на рукавах шинели и гимнастерки, – по одному галуну на каждом рукаве...

Мы опять легли на свое прежнее место в соломе, но не глубоко, потому что это не имело уже смысла. Васюков прикурил от своего окурка «мою» сигарету и прикончил ее за три остервенелых и длинных затяжки.

– Как вата, – сказал он и цикнул через зубы куда-то вверх.

Я промолчал.

– Тебе ж все равно нельзя было, – проговорил он.

– Ладно, – сказал я. Ни с востока, ни с запада к нам не доносилось ни гула, ни грохота.

В Немирово тоже было тихо.

– Могут и не перейти, – немного сгодя сказал Васюков. – Она ж как-никак обрывистая. И вода там как-никак есть...

Он говорил про канаву-ручей впереди наших окопов, и я напомнил о минном поле, о ПТР и о проволочном ограждении. Как-никак колья стоят. Они ж теперь вмерзли и... мало ли!

– Понятно, что вмерзли! – сказал Васюков. Он опять цикнул куда-то вверх, и я зажмурился, но плевков опустил на солому далеко от нас, описав, видно, крутую траекторию. Мы полежали молча, и вдруг Васюков привстал и приблизился ко мне почти вплотную.

– Слушай, Сергей, – заговорил он и оглянулся на веялки. – Я вот чего не пойму... Скажи, а куда ж делись наши танки? И самолеты? А? Или их не было? Понимаешь, ить с одними ПТР да с пол-литрами... Ну ты же сам все знаешь!

Я поправил на себе шапку, чтобы она пониже сползла на лоб, и спросил Васюкова:

– Про что это я знаю?

Он молчал, и я посоветовал ему не трепаться.

– Да я ж одному тебе только! – напомнил Васюков и опять оглянулся на веялки. – Что ж тут такого...

– Вот и помалкивай! – сказал я.

Там, у себя на воле, Васюков не спросил бы про это. Ни у меня не спросил бы, ни у себя, ни у кого другого. И я тоже не спросил бы, потому что на воле такие разговоры считались вражескими, а мы не были врагами ни родине, ни себе. Вот и все. Я подумал, что и тут, в плену, мы с Васюковым не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и ни про наши трудности, ни про майора Калача и ни про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое, – мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем таком не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми... и вообще тогда все будет с нами быстрее и лучше. Не надо только разговаривать тут про плохое – и все!

Васюков зарылся с головой в солому и оттуда не сказал, а выкрикнул:

– Махал я их! Слышишь? Махал!

– Кого это? – спросил я.

– Ты знаешь. Особистов твоих!.. Вот теперь взять нас... Ну скажи, за каким хреном нас посылали, а? Что мы могли разведать? Как?

– Боем. Огневые точки врага, – сказал я.

– Ты не прикидывайся дурачком, – сказал Васюков. – Пускай бы он своей задницей разведаль эти точки, а потом доложил нам – кисло было или как?

Это он говорил о майоре Калаче, и я приказал ему прекратить болтать.

– Не подымай фост! – ответил Васюков. – Что, с самолета нельзя разведать, да?

– А если его нету? – спросил я.

– Куда ж он делся?

– А его и не было!

– Да мы ж с тобой всю жизнь летали выше и дальше всех! Ну? – фальцетом выкрикнул Васюков. Я вспомнил про свой землеройный марш на фронт, про убитую лошадь в сенях Маринкиной хаты, про Перемота, про свою рану и плен и с мстительной обидой к себе, будто я один да еще он, Васюков, виноваты во всем, сказал в солому:

– Трепались мы с тобой, понял? А теперь вот все гибнет!

– Ну это ты не свисти! – угрожающе и уже басом проговорил Васюков и вылез из соломы, а я лег вниз лицом и заревел похоронно-трудно и мне нужно. Я ревел в голос, с верующим причетом о погибели, а Васюков сидел поодаль и твердил одно и то же:

– Кляп им в горло, чтоб голова не шаталась! Ясно? Кляп им в горло!

Он так и не придвинулся ко мне и, когда у меня не осталось ни слез, ни слов, сказал:

– Из ПТР тоже можно затокарить будь здоров! Ссадил же я «раму»? Ссадил или нет?

Чего молчишь?

– Ну, ссадил, – сказал я. – Ты же с моего плеча бил.

– Конечно, с твоего!.. Капитан обещал к ордену представить.

– Потом получишь, – примирительно сказал я.

– Вместе получим, – заявил Васюков. – И носить будем поровну, неделю я, а неделю ты.

– Ладно, – сказал я, и он пошел за веялки и вернулся с двумя небольшими бураками.

В полдень в сарай явился немецкий солдат в каске и с винтовкой. Он встал в проеме ворот, пощурился на веялки и дважды проговорил: «Раус». Немец не видел нас, и когда мы зашевелились, он стащил с плеча винтовку и отступил за ворота.

– Раус! Лёс!

Я сидел и что-то искал в соломе. Я не знал ни имени ему, ни размера, – что-то доступное только сердцу и без чего нельзя было встать и идти, и немец должен был знать про это. Васюков тоже пошарил вокруг себя и захватил горсть соломы.

– Чего он, Сереж? А?

Щеки у Васюкова были серые, и пух на них стоял дыбом.

– Это он так, Коль! Так зачем-нибудь! – сказал я, и Васюков поспешно кивнул. Пока мы вставали на ноги, он несколько раз зачем-то назвал меня по имени и я его тоже. Мы пошли к воротам, то и дело приостанавливались, чтобы почистить и оправить шинели друг на друге, и немец трижды и незлобно проворчал: «Лёс!» На нем низались две шинели, и нижняя была длинней верхней. Он отступил в сторону, зайдя нам в тыл, и скомандовал: «Форвертс». Мы пошли вдоль стены сарая к гряде не то раки, не то вязов. Там виднелись большие, крытые машины и немцы. Слева от нас неясно проглядывалось поле, где должен был лежать Перемот, а справа в седой дымке кучились постройки Немирово, – снег падал густой, липкой моросью. Васюков почти нес меня, хотя я мог идти сам. Он нарочно мешал мне переступить и раза два больно задел локтем мою спину.

– Ты б поохал! – шепнул он, клонясь подо мной, и я тихонько охнул раз и второй.

– Погромче не можешь? – изнуренно спросил Васюков, и я захохотал громче, а он еще ниже склонился и понес меня вихляючись, как мешок с солью.

В кузове крытой машины, куда нас стволом винтовки подсадил конвоир, лежали порожние железные бочки. За нами захлопнули дверку, и мы не стали садиться и взяли за руки...

– Надо было туда! Туда! Надо было туда!..

Мы стояли вцепившись друг в друга, а бочки раскатывались и гремели, и Васюков кричал это и торкался головой мне в грудь, потому что был ниже меня ростом. Я тоже кричал, но не Васюкову, а себе, и не одно и то же, как он, а разное, потому что машину трясло и подбрасывало – «нас везут полем!» – и мысли тоже прыгали и уносились в глубину незапамятного детства, где тебя нельзя было найти войне, разведке боем, немцам и самому себе!.. Машину кидало и подбрасывало, и когда она замедляла ход, мы приседали к полу и почти наваливались

друг на друга. Тогда Васюков замолчал, и в темноте я видел, как блестят и ходят из стороны в сторону его глаза. На таких полуостановках я тряс Васюкова за плечи, и мы стукались лбами, но то, что мне нужно было ему сказать, не поддавалось слову, потому что оно не хотело быть сказанным и стать явью. Это было длинно, – «надо упасть кверху лицом, а не вниз и не на бок, и надо, чтобы шапки откатились в сторону, потому что тогда будут на виду наши русые с завивом волосы, и руки надо разбросать, а не скрючить, и ноги тоже раскинуть, чтобы носки сапог стояли прямо...» Это получалось длинно и оно не вмещалось в наше время на полуостановках машины, а того единственного слова, которое бы разом и полностью выразило последний смысл последнего в нашей жизни, я не находил. Я только тряс Васюкова и видел в темноте, как углисто блестят его глаза. Мы одновременно почувляли конец тряски, но не присели, а только подались назад, к дверке, потому что машина резко набрала скорость. Бочки тоже откатились к заднему борту и запели ровным звонистым гулом. Мы стояли и держались друг за друга. Машина все ускоряла и ускоряла ход, и Васюков расслабил на мне свои руки и приподнялся на носках сапог.

– На сашу` выехали, Сереж! Чуешь? На сашу`! – сказал он так, будто мы были там, у себя.

– Ага, Коль! По саше` едем! По саше`! – сказал я и подумал, что по-другому нельзя называть дорогу, – так было ближе к своим. Мы с полчаса еще ехали стоя, потом, не сговариваясь, сели и уперлись ногами в бочки. У меня больно и свербяще ныла спина. Там будто сидела крыса и вгрызалась в меня под толчки сердца все глубже и глубже. Мне хотелось, чтобы Васюков спросил про рану, – может, полегчало бы, но он молчал, и тогда я пожаловался ему сам.

– Это рубаха отлипла, – сказал он. – Давай обопришь на меня.

Мы прислонились спиной друг к другу, и мне стало еще больней, – у Васюкова, как молодой, стучало сердце прямо в мою рану. Наверно, он догадался про это, потому что подложил под лопатки мне свою шапку, а сам перегнулся так, что я почти улегся на нем горизонтально. Он опять напомнил про сашу`, и я повторил за ним его фразу...

Когда часа через три машина остановилась, дверку кузова открыл уже знакомый нам с Васюковым немец в каске. На нем низались две шинели, и верхняя была короче нижней. Он тем же «немировским» приемом держал винтовку и таким же «сарайным» голосом сказал: «Раус». Васюков полез из машины первым. Он пятился задом вперед, обратив на меня лицо, и за ним мне виделся немец в каске, падающий снег и бесконечная, какая-то прозрачно-кружевная, белая стена. Васюков сполз на землю и протянул ко мне руки.

– Сереж! Уже все! Иди скорей!

Он наполовину всунулся в кузов и схватил меня за ноги. Я догадался, о чем он подумал, – раненого оставят в машине, а здорового поведут одного, – и толкнул его сапогом в грудь.

– Чего ты?! Иди скорей! Ну? – позвал Васюков, не опуская рук. На меня он глядел умоляюще и ненавистно – все вместе. Я пополз на четвереньках, и на краю кузова Васюков подхватил меня и поставил на землю.

– Все теперь! Уже все! – сказал он клетотно. Он стоял лицом ко мне и к машине. Шапка сидела на нем задом наперед, и поверх нее я видел – совсем рядом – обындевевшую проволочную стену и зыбуче-миражные, – потому что шел снег, – сторожевые вышки. За ними, в далекой глубине, неясно различались какие-то приземистые постройки, похожие на наши обоянские клуни. От их приплюснутых желтовато-талых крыш всходил и метался под ветром густой, радужный пар, а вокруг построек, по замкнутому кругу, текла и водопадно шумела серая, плотно сбитая толпа наших, – я увидел и узнал их сразу, издали, одновременно с вышками и с проволочной стеной. Васюков тогда тоже оглянулся и увидел все сам, но я опередил его и крикнул:

– Коль! Наши! Видишь?

Он обернулся и зачем-то прикрыл мне рот ладонью. Немец пнул в нас стволом винтовки и озябло сказал: «Форвертс». За машиной у проволочной стены стояла не видимая нами до этого будка. Она тоже была белой от инея, и на часовом низались две шинели, одна короче другой. Он распахнул перед нами белые проволочные ворота, и мы с Васюковым побежали к постройкам, – он впереди, а я сзади, и мне все время хотелось оглянуться назад, на немцев, – тут, на виду у своих, казалось, что я вижу их в последний раз...

– Братцы! Может, скажете, где мы находимся, а? Как называется это место, а?

Васюков спрашивал это на бегу, и наши что-то ответили перебойными голосами, и он обернулся ко мне и прокричал:

– Это Ржев, товарищ лейтенант! Ржев!..

В колонне наших не было пяди свободного пространства, потому что люди двигались, навалиясь на плечи и спины друг другу, и мы с Васюковым пристроились сбоку. Мне далеко виднелся валообразный полукруг своего фланга, и на какую-то кроху секунды я забыл про разведку боем, про рану и немцев: тут был не один и не два стрелковых батальона, и я оказался, как и положено при моих серебряных галунах, на отлете от строя. Я видел одновременно сотни людей, похожих друг на друга, потому что каждый одинаково ник и горбился под шинелью без хлястика, сцепив руки под грудью, и у всех поверх сапог и ботинок были намотаны обрывки какой-то ветоши. Колонна двигалась медленно. Она больше семенила на месте, рождая топотом ног какой-то сыпно-обвальным гул. Неизвестно зачем я пошел вперед вдоль строя, и при каждом шаге у меня в спине ударами взрывалась боль.

– Товарищ лейтенант!

Я оглянулся. Васюков тоже держал опущенные по швам руки, и шапка на нем сидела правильно.

– Не надо, товарищ лейтенант!

У него были белые и пустые глаза, а губы выпячивались трубочкой и дрожали. Я не понял, о чем он просил меня, а узнавать не имело смысла. Мы приблизились к колонне и пошли рядом. Впереди, над широкими крышами четырех построек, похожих на клуни, как ковыль в засуху, метался не то пар, не то дым. Постройки стояли попарно, метрах в тридцати одна пара против другой, и колонна терялась в их проходе. Мы топтались на месте. Пологие крыши «клубень» вызывали почти отрадное воспоминание о немировском сарае, и я спросил у Васюкова на ухо, что там такое. Он взглянул на меня пустыми глазами и поднял воротник моей шинели. Уцелевший в петлице кубарь сразу прилип к щеке, и я сместил его к губам, чтоб он оттаял. Васюков подступил к крайне-фланговому пленному и спросил про постройки. У пленного свисала с плеча обледенелая и запаскуженная чем-то каска, подвязанная обмоткой. Васюков спросил его хорошо, как знакомого, и дотронулся до каски. Пленный диковато зыркнул на него и обеими руками схватился за плечи впереди идущего.

– Братишки! Не давайте ему! Заступитесь, братишки! – непутево заголосил он и лягнул Васюкова ногой, запеленутой в брезентовый лоскут. В колонне заругались озлобленно и бес- сильно. Васюков раскосо взглянул на меня, а я отвернул воротник, чтобы виднелся кубарь, но в нашу сторону никто уже не смотрел, потому что мы отошли на свое прежнее место. В моем теле возились и ярились крысы, – много крыс, и я ощущал не боль, а какую-то липкую и лютую мразь их живой тяжести. Мне хотелось прилечь прямо тут, где мы топтались, и я сказал о том Васюкову. Он поднял мой воротник, обхватил меня пониже раны, и мы пошли вдоль колонны к постройкам. Наверно, Васюков и сам мечтал о соломе, потому что не вынес неизвестности и вторично спросил, теперь уже у всех, кто мог слышать:

– Граждане, не знаете, что там такое, а?

Ему никто не ответил, – не знали, может, о чем он, и Васюков пожаловался всем сразу:

– У меня командира ранило!

В колонне поинтересовались, куда мне угодило, и Васюков сказал. Его спросили, когда и где нас взяли, и он зачем-то назвал Волоколамск, а не Немирово, и что мы попали только вчера вечером. Кто-то отточенно-тонким голосом попытал, куда переехали из Кремля партия и правительство – в Самару или в Куйбышев, но Васюков этого не знал. Он, наверно, с умыслом толкнул меня локтем пониже раны, но мне хотелось лечь, а не охать, и я подогнул колени.

– В гроб мать! В сараях, говорю, что? – на крике спросил Васюков толпу, и ему сразу ответили:

– А то не сараи. То склады «Заготзерно».

– А теперь что там?

– Раненые да тифозники... Там, брат, жи-изня! Там крыша и нары, небось! – распевно и завистливо сказал кто-то. Васюков не поднимал меня. Я лежал на спине и видел его одного. Мне было хорошо и отраднo лежать и высоко над собой видеть одного Васюкова. Нос у него сидел на боку, и щетина на лице топырилась щеткой и была белой, как у святого на картине, – обындевила. Он подождал, чтобы я полежал немного, потом присел передо мной на корточки.

– Все. Там, вишь, нары. Ты не расслаживайся.

– Да я не расслаживаюсь, – сказал я. – Полежу тут, и все пройдет. Ладно?

– В складе лучше пройдет. Там нары и крыша... Давай руки! – приказал Васюков, и в голосе его была растерянность и тревога. Он понес меня на закорках, и мне хорошо виднелась желтая потечная крыша ближнего склада, курившаяся не то дымом, не то паром, черная, обшитая просмоленными досками стена, а под ней навально-раздерганная поленница, отсвечивающая иссиня-белесым и матовым. Сразу я подумал про осиновые дрова, – от них всегда не то дым, не то пар, но это были не дрова. Я толкнул Васюкова коленями и сказал, чтобы он поворачивал назад, к колонне. Он крикнул, чтобы я не расслаживался, и выругался в бога. Он семенил, склоняясь почти до самой земли, оттого и не видел того, что различал я.

– Там мертвецы лежат! Голые! – сказал я под свои пинки ему в зад, и Васюков побежал зигзагами, то и дело выкрикивая:

– Сиди! Сиди!

У поленницы он споткнулся и выпустил мои руки. Я съехал на землю, лег на спину и стал глядеть в небо. Минут через пять на нем обозначилось белое лицо Васюкова с большими, белыми глазами, и он прокричал большим, белым ртом:

– Это они от тифа, понял? Раненых тут ни одного нету!

Справа, метрах в тридцати, топотала и гудела, минуя нас, колонна пленных, и мне хотелось туда. Я сказал об этом Васюкову, но сам себя не услышал, – голоса не было, он запал куда-то внутрь, в нарывную боль под лопаткой. Васюков решил, что мне надо пососать снег, и возле самой поленницы мертвецов зачерпнул его ладонью.

– Смочи горло! – крикнул он. – Слышишь?

Я перевалился на живот и спрятал лицо. Васюков разговаривал со мной, как с глухим, на крике в ухо, но я слышал все – темный безъязыкий гул в колонне, какой-то неумолчно ровный шум в складе, будто там, как в спичечной коробке, сидел и возился обессилевший шмель, слышал и ощущал удары своего сердца – «как молоток!» – слышал шепотную, про себя, на меня, матерщину Васюкова. Он приподнял и посадил меня, а сам присел на корточки спиной ко мне. Я обхватил его шею руками, и мы пошли, но не к колонне, а вдоль поленницы, в конец склада. Во всю его ширину там оказались двери-ворота, обросшие желтой, бугристой наледью. Через пазы створок наружу высывались обрывки шинелей, гимнастерок, нательного белья и пробивались вялые струи не то дыма, не то пара. Не ссаживая меня, Васюков постучал кулаком в ворота. В складе возился шмель. Васюков подождал и постучал снова. Я висел на нем и глядел в сторону колонны. Сбитно-плотная и серая, она колыхалась и гудела в каких-нибудь тридцати метрах от нас. Васюков толкнул ворота ногой и не удержался. Мы упали плашмя, и я остался

лежать, а он поднялся, разогнулся и плечом ударился в ворота. Потом еще и еще. То правым плечом, то левым.

– Откройте! Мать вашу в гроб! В причастие!..

Я лежал и глядел в небо. Оно все сдвигалось и сдвигалось куда-то вбок, потом понеслось на меня и оказалось нашей Обоянью, только вместо тюрьмы на площади был амбар, и Маринка взяла меня за указательный палец, и мы побежали к нему...

Это мое видение пропало, когда от колонны подошел к нам коренастый, черноликий пленный в полуобгоревшем танкистском шлеме и грязной кавалерийской венгерке. Он сказал Васюкову, что без Тимохи двери не откроются, а меня спросил:

– Второй не успел сорвать, да?

Он спросил, злобно оскалив зубы, и я догадался, о чем он – о моем оставшемся кубаре.

– Сволочи! Как чуть что – амуницию в канаву и под ополченца!

– Дура еловая! Не видишь, что человек ранен? – мирно сказал ему Васюков. – Давай подмогни стучать!

– Тимоха так тебя стукнет, что костей не соберешь! – мстительно проговорил пленный и пошел к колонне. Мне тоже хотелось туда, но говорить об этом Васюкову было незачем. Он несколько раз еще разогнулся и ударялся плечом о ворота. Там за ними возился и гудел шмель. Снег падал косо и стремительно, и я не мог уловить его ртом, – тут была неветренная сторона.

– Давай руки, – сказал Васюков. Щетина на его лице еще больше побелела и вздыбилась. Я повис на нем, и мы двинулись к колонне, как мне хотелось. Мы опять пристроились сбоку, и кто-то невидимый мне сказал одышным, дрожащим голосом – пожилой, видно, был:

– Вы бы, ребята, поменьше пили, а побольше закусывали. А то, вишь, оно как получается...

Васюков ругнулся и поглядел на меня длинно и мечтательно, – наверно, вспомнил про самогон и консервы в день моей свадьбы. Он спросил у всех ближних к нам, кто такой Тимоха и кем он тут служит. В колонне молчали, как молчат о чем-нибудь тайном или опасном.

– Говорю, Тимоха кем тут у вас, а?

Мне тогда снова захотелось полежать лицом в небо, и я не услышал, что ответили пленные Васюкову...

Я сидел у подветренной стены склада, рядом с тем штабелем. Наушники у моей шапки были опущены, а тесемки завязаны мертвым узлом. Рот мне закрывал поднятый воротник шинели, и на кубаре намерзла большая круглая ледышка. Прямо передо мной, метрах в тридцати, топотала колонна. По узлу на тесемках шапки, по тому, как были укрыты полами шинели мои колени и как я полусидел-полулежал совсем рядом с поленницей, я догадался, что Васюков меня бросил, а сам... Может, убежал уже! Мои руки были засунуты в карманы шинели, – Васюков, конечно, засунул, навсегда, перед своим уходом, и я потянул их, чтобы пощупать пульс, – сам же говорил, что он у меня, как молоток, а рана с гулькин нос! Я никак не мог стянуть свои шерстяные командирские перчатки, – на кисти их туго зажимали застегнутые манжеты гимнастерки, – это тоже он, сволочь, зачем-то заправил, а сам...

Пульс бился. На обоих запястьях. Мне было жарко и хотелось пить, но снег не падал: ветер улегся, и небо расчистилось, и над кружевом проволочного забора рдело закатное солнце с двумя радужными столбами по бокам. Снега не было нигде, кроме запретных зон у сторожевых вышек и еще рядом со мной, у поленницы. Тут он целел плотным настом, и лишь в нескольких местах в нем были протоптаны проходы-коридоры, и виделся наш с Васюковым зигзагообразный след. Из поленницы – и все почему-то вверх, в небо, торчали синие скрюченные руки, а припавшие в одну сторону, к колонне, стриженные обледенелые головы светились медно, и мне казалось, что они звучат...

Пленный был в пилотке, натянутой чулком на лицо, и мою шапку тащил за макушку, отчего тесемки врезались мне в горло. Я боднулся, и пленный побежал к колонне. Были стылые, прозрачные сумерки: над предворотной будкой в небе обозначался ущербный месяц. Может, я первый из всех увидел тогда, как от ворот в глубь лагеря заковыляла на трех ногах белая лошадь. Она понуждалась к складу, у которого я сидел, но недалеко от поленицы попятилась назад, споткнулась и заржала – трубно и длинно, и к ней тогда половодно хлынула колонна пленных...

Это продолжалось долго – смятенная поваль, крики и стоны, – а потом появился Васюков. Полы его шинели были темными, и в руках он держал какой-то блестящий, розовый пласт. Он окликнул меня, как вдогон издали, и я приподнял руку.

– Тимоху искал, – рыдающе сказал он. – А после вот лошадиную легкую достал. Она совсем... совсем теплая.

Когда я снова увидел Васюкова, месяца над предворотной будкой уже не было, и колонна пленных почти не различалась. Васюков топал сапогами у моих ног, бил себя руками по бокам и кричал:

Ува-ува-ува-ва! Ува-ва! Ува-ва!

Мне было жарко и хотелось пить.

От поленицы неся колокольный звон.

Потом я увидел, как Перемот бежал впереди, а мы с Васюковым сзади, плечо к плечу, и у него влажно и сладко булькала под шинелью писанка, но я знал, что в ней ничего нету. Мы бежали по немировскому полю – красному от мака, а стояки с колючкой перед моим взводом были кружевно-белыми, и сторожевые вышки над ними тоже. Впереди ручья – там же минное поле! – стоял и ждал нас по команде «смирно» капитан Мишенин, и я врезал перед ним сапогами и каким-то единственным, большим, круглым словом доложил ему обо всем сразу – о числе вражеских солдат, танков и минометов в Немирове, о медном кресте Перемота, о бумажнике немца с ромбом, шпалой и моим кубарем, о растерзанной пленными трехногой белой лошади и поленице...

1961

Убиты под Москвой

*...Нам свои боевые
Не носить ордена,
Вам все это, живые,
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать,
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.*

А. Твардовский

1

Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт.

В ту пору с утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась голубовато-призрачная мгла, будто тут сроду не было восходов солнца, будто оно навсегда застряло на закате, откуда и наплывало это пахучее сумеречное лихо – гарь от сгибших там «населенных пунктов». Натужно воя, невысоко и кучно над колонной то и дело появлялись «юнкеры». Тогда рота согласно приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно. Рота рассыпалась и падала по команде капитана – четкой и торжественно напряженной, как на параде. Сам капитан оставался стоять на месте лицом к полегим, и с губ его не сходила всем знакомая надменно-ироническая улыбка, и из рук, затянутых тугими кожаными перчатками, он не выпускал ивовый прут, до половины очищенный от коры. Каждый курсант знал, что капитан называет эту свою лозинку стеком, потому что каждый – еще в ту, мирную, пору – ходил в увольнительную с такой же хворостинкой. Об этом капитану было давно известно. Он знал и то, кому подражают курсанты, упрямо нося фуражки чуть-чуть сдвинутыми на правый висок, и, может, поэтому самому ему нельзя было падать.

Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения. Впереди – и уже недалеко – должен быть фронт. Он рисовался курсантам зримым и величественным сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить один из его временно примолкших бастионов...

Снег пошел в полдень – легкий, сухой, голубой. Он отдавал запахом перезревших антоновских яблок, и роте сразу стало легче идти: ногам сообщалось что-то бодрое и веселое, как при музыке. Капитана по-прежнему отделяли от колонны шесть строевых шагов, но за густой снежной завесой он был теперь почти невидим, и рота – тоже как по команде – принялась добивать на ходу остатки галет – личный трехдневный НЗ. Они были квадратные, клеклые и пресные, как глина, и капитан скомандовал: «Отставить!» – в тот момент, когда двести сорок ртов уже жевали двести сорок галет. Капитан направился к роте стремительным шагом, неся на отлете хворостину. Рота приставила ногу и ждала его, дружная, виноватая и безгласная. Он

пошел в хвост колонны, и те курсанты, на кого падал его прищуренный взгляд, вытягивались по стойке «смирно». Капитан вернулся на прежнее место и негромко сказал:

– Спасибо за боевую службу, товарищи курсанты!

Рота угнетенно молчала, и капитан не то засмеялся, не то закашлялся, прикрыв губы перчаткой. Колонна снова двинулась, но уже не на запад, а в свой полутыл, в сторону чуть различимых широких и редких построек, стоявших на опушке леса, огибаемого ротой с юга. Это сулило привал, но если бы капитан оглянулся и встретился с глазами курсантов, то, может, повернул бы роту на прежний курс.

Но он не оглянулся. То, что издали рота приняла за жилые постройки, на самом деле оказалось скирдами клевера. Они расселись вдоль восточной опушки леса – пять скирдов, – и из угла крайнего и ближнего к роте на волю, крадучись, пробивался витой столбик дыма. У подножия скирдов небольшими кучками стояли красноармейцы. В нескольких открытых пулеметных гнездах, устланных клевером, на запад закликающе обернули хоботки «максимы». Заметив все это, капитан тревожно поднял руку, останавливая роту, и крикнул:

– Что за подразделение? Командира ко мне!

Ни один из красноармейцев, стоявших у скирдов, не сдвинулся с места. У них был какой-то распушенно-неряшливый вид, и глядели они на курсантов подозрительно и отчужденно. Капитан выронил стек, нарочито заметным движением пальцев расстегнул кобуру «ТТ» и повторил приказание. Только тогда один из этих странных людей не спеша наклонился к темной дыре в скирде.

– Товарищ майор, там...

Он еще что-то сказал вполголоса и тут же засмеялся отрывисто-сухо и вместе с тем как-то интимно-доверительно, словно намекал на что-то, известное лишь ему и тому, кто скрывался в скирде. Все остальное заняло не много времени. Из дыры выпрыгнул человек в короткополом белом полушубке. На его груди болтался невиданный до того курсантами автомат – рогато-черный, с ухватистой рукояткой, чужой и таинственный. Подхватив его в руки, человек в полушубке пошел на капитана, как в атаку – наклонив голову и подавшись корпусом вперед. Капитан призывно оглянулся на роту и обнажил пистолет.

– Отставить! – угрожающе крикнул автоматчик, остановившись в нескольких шагах от капитана. – Я командир спецотряда войск НКВД. Ваши документы, капитан! Подходите! Пистолет убрать.

Капитан сделал вид, будто не почувствовал, как за его спиной плавным полукругом выстроились четверо командиров взводов его роты. Они одновременно с ним шагнули к майору и одновременно протянули ему свои лейтенантские удостоверения, полученные лишь накануне выступления на фронт. Майор снял руки с автомата и приказал лейтенантам занять свои места в колонне. Сжав губы, не оборачиваясь, капитан ждал, как поступят взводные. Он слышал хруст и ощущал запах их новенькой амуниции – «прячут удостоверения» – и вдруг с вызовом взглянул на майора: лейтенанты остались с ним.

Майор вернул капитану документы, уточнил маршрут роты и разрешил ей двигаться. Но капитан медлил. Он испытывал досаду и смущение за все случившееся на виду курсантов. Ему надо было сейчас же сказать или сделать что-то такое, что возвратило и поставило бы его на прежнее место перед самим собой и ротой. Он сдернул перчатки, порывисто достал пачку папирос и протянул ее майору. Тот сказал, что не курит, и капитан растерянно улыбнулся и доверчиво кивнул на вороватый полет дымка.

– Кухню замаскировали?

Майор понял все, но примирения не принял.

– Давайте двигайтесь, капитан Рюмин! Туда двигайтесь! – указал он немецким автоматом на запад, и на его губах промелькнула какая-то щупающая душу усмешка.

Уже после команды к маршу и после того, как рота выпрямила в движении свое тело, кто-то из лейтенантов запоздало и обиженно крикнул:

– А мы, думаете, куда идем? В скирды, что ли?!

В колонне засмеялись. Капитан оглянулся и несколько шагов шел боком...

Курсанты вошли в подчинение пехотного полка, сформированного из московских ополченцев. Его подразделения были разбросаны на невероятно широком пространстве. При встрече с капитаном Рюминым маленький измученный подполковник несколько минут глядел на него растроганно-завистливо.

– Двести сорок человек? И все одного роста? – спросил он и сам зачем-то привстал на носки сапог.

– Рост сто восемьдесят три, – сказал капитан.

– Черт возьми! Вооружение?

– Самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином.

– У каждого?

Вопрос командира полка прозвучал с благодарностью. Рюмин увел глаза в сторону и как-то недоуменно-неверяще молчал. Молчал и подполковник, пока пауза не стала угрожающе длинной и трудной.

– Разве рота не получит хотя бы несколько пулеметов? – тихо спросил Рюмин, а подполковник сморщил лицо, захмурился и почти закричал:

– Ничего, капитан! Кроме патронов и кухни, пока ничего!..

От штаба полка кремлевцы выдвинулись километров на шесть вперед и остановились в большой и, видать, когда-то богатой деревне. Тут был центр ополченской обороны и пролегал противотанковый ров. Косообрывистый и глубокий, он тянулся на север и юг – в бескрайние, чуть заснеженные дали, и все, что скрывалось впереди него, казалось угрожающе-таинственным и манящим, как чужая неизведанная страна. Там где-то жил фронт. Здесь же, позади рва, были всего-навсего дальние подступы к Москве, так называемый четвертый эшелон.

2

В северной части деревня оканчивалась заброшенным кладбищем за толстой кирпичной стеной, церковью без креста и длинным каменным строением. От него еще издали несло сывороткой, мочой и болотом. Капитан сам привел сюда четвертый взвод и, оглядев местность, сказал, что это самый выгодный участок. Окоп он приказал рыть в полный профиль. В виде полуподковы. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в ту самую пахучую постройку. Он спросил командира взвода, ясен ли ему план оборонительных работ. Тот сказал, что ясен, а сам стоял по команде «смирно» и изумленно глядел не в глаза, а в лоб капитана.

– Ну что у вас? – недовольно сказал капитан.

– Разрешите обратиться... Чем рыть?

Командир взвода спросил это шепотом. У капитана медленно приподнялась левая бровь, и от нее наискось через лоб протянулась тонкая белая полоска. Он качнулся вперед, но лейтенант поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти на ухо:

– Хреном! Вас что, Ястребов, от соски вчера отняли?

Алексей сразу не понял смысла сказанного капитаном. Он лишь уловил в его голосе приказ и выговор, а на это всегда надо было отвечать одним словом, и он сказал: «Есть!»

– Окоп отрыть к шести ноль-ноль! – строго напомнил капитан и пошел вдоль улицы – прямой, высокий и в талии, как рюмка. Через несколько шагов он вдруг обернулся и позвал:

– Лейтенант!

Алексей подбежал.

– Взвод разместите в крайних семи домах. Спросите там лопаты и кирки. Ясно?

Взвод перекуривал у церкви. Алексей отозвал в сторонку своего помощника и отделенных и слово в слово передал им приказ капитана. Он сохранил все оттенки его голоса, когда спрашивал, ясен ли план оборонительных работ. Любой из этих пяти курсантов сразу и навсегда обрел бы в нем тайного друга, если б задал вопрос, чем рыть окоп. Тогда все повторилось бы – от хрена с соской до лопат и кирок – и горячая тяжесть стыда перед капитаном оказалась бы поделенной с кем-то поровну. Но помкомвзвода сказал:

– Рыть так рыть. Третье отделение, живо по хатам шукать ломы и лопаты, пока другие не захватили!

И через час четвертый взвод рыл окоп. Полуподковой. В полный профиль. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в опустевший коровник. Только на этот срок и хватило Алексею досады и горечи от разговора с капитаном. У него снова и без каких-либо усилий образовался прежний порядок мыслей, чувств и представлений о происходящем. Все, что сейчас делалось взводом и что было до этого – утомительный поход, самолеты, – все это во многом походило на полевые тактико-инженерные занятия в училище. Обычно они заканчивались через три или шесть дней, и тогда курсанты возвращались в казармы и учебные классы, где опять начиналась размеренно-сучная жизнь с четкой выправкой тела и слова, с тревожно-радостной, никогда не потухающей мечтой об аттестации. Дальше этого не избалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определенно зримое.

В то, что он уже две недели как произведен в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это еще не взаправду, это только так, условно, как на занятиях, и тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено по уставу.

С еще более нечетким и зыбким сознанием воспринималась им война. Тут он оказывался совершенно беспомощным. Все его существо противилось тому реальному, что происходило, – он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось, – пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед, к Москве... Это было, конечно, правдой, потому что... потому что об этом говорил сам Сталин. Именно об этом, но только один раз, прошедшим летом. А о том, что мы будем бить врага только на его территории, что огневой залп нашего любого соединения в несколько раз превосходит чужой, – об этом и еще о многом, многом другом, непоколебимом и неприступном, Алексей – воспитанник Красной Армии – знал с десяти лет. И в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны.

Окоп был отрыт к установленному сроку. Только ход сообщения в церковь вывести не удалось: двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю. Помкомвзвода предложил пробить в фундаменте брешь связкой гранат, но Алексей сказал, что на это нужно разрешение капитана.

Утро наступило немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло. Прямо над деревней стыло мерк месяц. Первый снег так и не растаял. За ночь он слежался в тонкий и гладкий, как бумага, пласт. К ротному КП Алексей пошел по задворкам, ненужно далеко обойдя кладбище, – снег тут был нетронут чист, и он осторожно и радостно печатал его новыми сапогами, и они казались ему особенно уютными и фасонистыми. «В хромовых бы сейчас! Я их еще ни разу не надевал...»

Командный пункт размещался в центре деревни в кокетливом деревянном домишке под железной крышей. Над его крыльцом висел бурый лоскут фанеры, с чуть проступавшими синими отечными буквами. «Правление колхоза «Рассвет». Связной курсант доложил Алексею, что капитан только что ушел в третий взвод.

– Это на левом фланге, – вдруг с начальническим видом объяснил он, но, смущенный своим тоном, тут же добавил: – А ваш правый, товарищ лейтенант...

Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то неумное притаившееся счастье, – радость этому хрупкому утру, тому, что не застал капитана и что надо было еще идти куда-то по чистому насту, радость словам связного, назвавшего его лейтенантом, радость своему гибкому молодому телу в статной командирской шинели – «как наш капитан»! – радость беспричинная, гордая и тайная, с которой хотелось быть наедине, но чтобы кто-нибудь видел это издали. Он шел мимо обветшалых сараев, давно, видать, заброшенных и никому не нужных, и в одном из них, горбатым и длинным, как рига, еще издали заметил настежь распахнутые ворота, а в их темном зеве – неяркий свет не то фонаря, не то костра. Алексей направился к сараю и в глубине его увидел кухню с разведенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и несколько курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник вопрос, откуда они появились, и, не расставаясь со своим настроением, он громко и весело крикнул:

– Здравия желаю, товарищи тыловики!

Ему ответили сдержанно, по-уставному, – старшина тоже, и из-за кузова полуторки вышел капитан. Он опять был с хворостинкой и застегнут и затянут так, словно никогда не раздевался. Он козырнул Алексею издали, какую-то долю секунды подержал поднятой левую бровь и сказал:

– Старшина! Четвертый взвод получает еду первым, третий – вторым, а первый – последним. Лейтенант! Возьмите здесь каски для взвода и три ящика патронов. Сообщите об этом лейтенанту Гуляеву. Окоп готов?

Алексей доложил. Подорвать фундамент церкви капитан не разрешил. По его мнению, четвертый взвод должен беречь свои гранаты для других целей.

Соседом слева у Алексея был второй взвод. Его окоп извилисто пролегал в глубь деревни на виду противотанкового рва. На стыке взводов в кольце голых осин одиноко стояла опрятная, побеленная снаружи изба, за десяток шагов еще пахнувшая простоквашей – когда-то тут был сепараторный пункт. Командира второго взвода Алексей нашел в этой избе: тот заканчивал банку судака в томатном соусе.

– И пуля попэ-эрла по каналу ствола! – остановившись у порога, сказал Алексей, подражая преподавателю внутренней баллистики в училище майору Сучку. Они несколько минут хохотали, не сходясь еще, мимикой и жестами копируя движения и походку чудаковатого майора, потом разом подобрались, вспомнив о своих званиях, и Алексей сказал о кухне, касках и патронах.

– Вам все ясно, лейтенант Гуляев?

– Ясно, – солидно отозвался Гуляев. – Сейчас пошлю получать. Второй взвод не задержится, это вам не какой-нибудь там четвертый.

– При отступлении тоже?

– Русская гвардия никогда не отступала, лейтенант Ястребов! Пошли, покажу свое хозяйство.

На крыльце надо было зажмуриться. Снег не блестел, а сиял огнисто, переливчато-радужно и слепяще – солнце взошло прямо за огородами деревни. Свет все нарастал и ширился, и вместе с ним, по рву, в деревню накатно, туго и плотно входил рокот. Алексей и Гуляев обогнули угол избы. Впереди рва, пока хватало глаза, пустынно сиял снег, и на нем нарисованно голубел лес, а ближе и левее чуть виднелось какое-то селение.

– Самолеты! – сказал Гуляев. – Видишь? На четыре пальца правее леса гляди... Ну?

– Это галки там, – не сразу, но слишком своим голосом сказал Алексей, а рокот уже перерос в могучий рев, и теперь было ясно, что лился он с неба. Самолеты и в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей; они увеличивались с каждой секундой, и круги пропелле-

ров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше пятидесяти штук. Каждый летел в каком-то странном ныряющем наклоне, с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем.

– Заходят на нас! – почти безразлично сказал Гуляев, и Алексей увидел его мгновенно побелевший, совершенно обескровевший нос и сам ощутил, как похолодело в груди и сердце резкими толчками начало подниматься к горлу.

– Пошли по взводам? – спросил он у Гуляева. Тот кивнул, и каждый подумал, что не побежит первым. Они пошли под осинами томительно медленно, но бессознательно тесно, и оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест воздуха. Упали они одновременно, плашмя, под одной осиной, и мозг каждого одновременно отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих смертей. Но удара не последовало. Наверное, они одновременно открыли глаза, потому что разом увидели метавшиеся по снегу, по осинам и по ним самим лохматые сумеречные тени от пролетающих самолетов. И они разом поднялись на ноги, и Гуляев устало сказал:

– На Клин пошли...

У него по-прежнему был белый и острый, как бумажный кулечек, нос. Не сводя с него глаз, Алексей сказал шепотом:

– Ну, я пойду к себе, Сашк.

– Ну, пока, Лешк. Заглядывай.

3

Через час над деревней к востоку прошла новая группа самолетов. Потом еще, еще и еще. Капитан распорядился не дразнить их ружейным огнем: деревню населяли молчаливые женщины да дети, и нужно было поспрятать их в убежища. Землянки для них предполагалось рыть на окраине, но бабы ни за что не хотели вылезать из погребов, расположенных во дворах.

Всякий раз, когда самолеты скрывались и наступала расслабляющая тишина, земля еще долго сохраняла в своих глубинах чуть ощутимую зябкую дрожь. Это было особенно заметно в окопе, и тогда почему-то хотелось зевать и тело непроизвольно льнуло к стенке окопа. В такие межсамолетные паузы из сверкающей дали лениво прикатывались заглушенные обвальными взрывы: где-то там впереди по-живому ворочался и стонал фронт.

Четвертый взвод маскировал, прихорашивал и обживал свой окоп. Желто-коричневый гребень бруствера присыпали снегом, дно устлали соломой, в передней стенке нарыли печурок и углублений. Для Алексея курсанты оборудовали что-то похожее на землянку, только без наката и насыпи, но со множеством замысловатых по форме ниш – помкомвзвода разложил там гранаты и расставил бутылки с бензином. Все тут: приглаженно-ровный козырек бруствера, отшлифованно-четкий срез стен, какой-то русско-византийский овал печурок и ниш – все это было сделано и отделано с тем сосредоточенным старанием, которое полностью исключает чувство тревоги и опасности. Видно, оттого окоп и не выглядел так, как положено на войне: в нем было что-то затаенно мирное и почти легкомысленное.

Во второй половине дня самолеты не появлялись, но оттуда, где синей извилиной лес призрачно намечал зыбучую кромку горизонта, в окопы все чаще и явственней доносился раздерганно-клочковатый гул. Временами, когда гул спадал, можно было расслышать протяжные и слитные звуковые вспышки, словно кто-то недалеко и скрытно разрывал на полосы плащпалатку.

Прекратилось это внезапно, сразу. А часа через полтора от опушки леса начали отрываться и двигаться по полю темные точки. С каждой минутой их становилось все больше и

больше, и было уже ясно, что это люди, но шли они как-то зигзагами, рассеянно, мелкими кучками и поодиночке.

– Товарищ лейтенант! Видите? – тревожно и радостно крикнул Алексею кто-то из курсантов. – Может, это ихние диверсанты просочились? Подпустим? Или как?

В разрыве леса и чуть видимого селения висело лохматое закатное солнце, похожее на стог подожженной соломы. Смотреть вперед можно было лишь сквозь ресницы, и все же Алексей угадал своих. Свои были у людей походки, свои шинели, свои каски и шапки.

– Это наши, славяне! – разочарованно сказал помкомвзвода, и Алексей чуть не спросил у него – откуда это они так? На виду рва бредшие по полю сошлись вместе и построились в колонну по три. В строю людей казалось совсем немного – не больше взвода, и они долго почему-то стояли на месте, совещаюсь видно, потом разделились на четыре группы и пошли к деревне, сохраняя дистанцию и забирая в сторону окопа четвертого взвода. Еще утром, возвращаясь от Гуляева, Алексей заметил в скосе противотанкового рва напротив коровника небольшой оползень. Его надо было скрыть и почистить, но он забыл о нем, и теперь незнакомые бойцы избрали это место для прохода через ров.

Первым по оползню выбрался невысокий человек в темной командирской шинели. Оглянувшись на окоп, он припал на колени и начал кого-то тянуть к себе то ли за ремень, то ли за конец палки. Алексей вызвал двух курсантов и пошел ко рву. У того, что стоял там на коленях, в выцветших черных петлицах адели капитанские шпалы, и тащил он из рва за ствол винтовки грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели. Узенький брезентовый ремень опоясывал бойца чуть ли не ниже бедер, и это, возможно, мешало ему переступить ногами: ухватившись за винтовку, он откидывался назад, повисая над уклоном всем корпусом, и сразу же начинал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник.

– Разрешите помочь, товарищ капитан! – сказал Алексей. Капитан молча кивнул и судорожно переложил оголенные руки на стволе винтовки, освобождая место. Алексей потянул за винтовку, и красноармеец мелкими спутанными шагами пошел наверх. У него было по-женски белое и круглое лицо без признаков растительности; старенькая пилотка нелепо сидела поперек бритой головы, и, подымаясь, он как-то болезненно-брезгливо глядел куда-то мимо капитана и Алексея.

– Ногами работай, друг! Ногами! – посоветовал один из курсантов. Стоявшие внизу бойцы сдержанно засмеялись, а Алексей спросил капитана:

– Он ранен?

– Нет, – сквозь зубы сказал капитан.

– А что же?

– Ну... не может... Не видите, что ли?

Очутившись наверху, красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся, закинув руки за спину. Остальные бойцы преодолели ров легко и споро, подпирая друг друга прикладами. Без команды, они торопливо построились на краю рва и остались стоять там, переговариваясь полупшепотом. Капитан спросил, чья у него винтовка, и из строя вышел маленький боец, увешанный по бокам вещмешком и противогазной сумкой. Винтовку он взял у капитана рывком, будто отнял, и сразу же кинулся назад, к своим. Пониже спины в его шинели виднелась большая округлая дырка с обуглившимися краями, и на ходу боец все пытался прикрыть прожог ладонью.

Если б капитан сразу же приказал своему отряду двигаться, у Алексея не возник бы вопрос, откуда и куда он идет. Но капитан долго и старательно вытирал руки подолом шинели, хотя были они чистые, и то и дело поглядывал в сторону обособленно стоявшего красноармейца. Тот по-прежнему смотрел куда-то за окоп, и ремень на нем совсем съехал вниз. «Наверно, вестовой его, – решил Алексей, – мне бы с ним минут сорок заняться по-пластунски!..» К бойцам, тихо стоявшим в строю, из окопа начали подходить курсанты со своими

«СВТ». Алексей заметил, как испытующе-тревожно поглядел на них капитан, и неожиданно для самого себя спросил:

– Откуда вы идете, товарищ капитан?

Тот опять взглянул на одинокого красноармейца и не ответил. Алексей подвинулся к курсантам и повторил вопрос.

– Мы вышли из окружения! – озлобленно сказал капитан и носком сапога сбил комок глины в ров. – И нечего нас тут допрашивать, лейтенант! Накормите вот лучше людей! Двое суток, черт бы его драл...

– Почему вы сюда... Где фронт? – торопясь и все больше пугаясь чего-то непонятного, перебил Алексей, и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошел безоружный красноармеец.

– А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься? А? – не вынося из-за спины рук, кидал он под свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом. Алексей едва ли сознавал, зачем он пошел навстречу красноармейцу и почему спрятал руки в карманы шинели. Он столкнулся с ним грудь с грудью и, задохнувшись, визгливо выкрикнул за два приема:

– Где ваша... винтовка, товарищ боец?!

– Я воевал не винтовкой, а дивизией, лейтенант! – тоже фальцетом крикнул красноармеец и стал по команде «смирно». – Приведите себя в порядок! Как стоите? Я генерал-майор Переверзев! Кто у вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру!

Забыв отступить и только качнувшись назад, Алексей вытянулся и расправил плечи, как на учебном плацу. За какую-то долю секунды стоявший перед ним человек преобразился в его глазах полностью и совершенно – в нем все теперь казалось ему иным, большим, генерал-майорским, кроме ремня, шинели и пилотки, и, вспомнив, как он переходил ров, Алексей враз постиг и поведение капитана, и почему бойцы не помогли ему снизу прикладами, а после стояли в стороне и переговаривались шепотом... Не сходя с места, Алексей крикнул через плечо:

– Помкомвзвода! Проводи товарища генерал-майора к капитану!

– Сам пойдешь! – сказал Переверзев, и Алексей пошел с левой ноги строевым шагом, тесно прижав руки к бокам. Следом за ним двинулся генерал-майор, потом капитан и бойцы. Миновав окоп своего взвода и выйдя на улицу, Алексей еще издали увидел капитана Рюмина: он стоял у сепараторного пункта и что-то объяснял Гуляеву, показывая лозинкой то на осины, то на окопы и ров. Заметив подходивших, капитан выжидающе поднял лицо, а Алексей пошел как под знаменем, вскинув к голове руку.

О генерал-майоре он докладывал путано, и с каждым его словом у капитана Рюмина все выше приподнималась левая бровь. Как зачарованный, он смотрел на ремень Переверзева и вдруг побледнел и сказал чуть слышно:

– Предъявите ваши документы!

– Я попрошу не здесь, – увялым баском сказал Переверзев.

Рюмин повернулся к нему спиной и приказал Алексею:

– Назначьте себе связного! Вы не должны каждый раз отлучаться... Ваше место во взводе, лейтенант!

4

Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса.

– Всех в обход! – сказал капитан. – В разговоры ни с кем из них не вступать! Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находится в четырех километрах правее и сзади нас.

В четвертый взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла задернутая желто-коричневой пеленой, и стало еще тягостнее и тревожнее от ее мутно-бутылочного света и оттого, что в деревне начали кричать еле слышными подземельными голосами петухи, – в погребках, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягиваясь в струнку, и, не глядя на него, капитан сказал:

– Бросьте тянуться, Ястребов! Вы не на экзамене... Кстати, что вам говорил о фронте... красноармеец Переверзев?

Пачка «Беломорканала» слезалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затаиваясь до тошнотворной рези в груди, и тогда капитан спросил еще:

– Курсанты все слышали?

– Все, – сказал Алексей. – Генерал-майор...

– Хорошо, – перебил капитан. – Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец... Контуженый. Установил это я сам. Понимаешь?

– Я все понял, – негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью глядя в глаза Рюмина.

– Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич, – неожиданно и просто сказал капитан. – Кажется, на нашем направлении прорван фронт... – и все тем же, немного не своим и немного не военным тоном, капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка и что от штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему – он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексея и легонько толкнул его к окопу.

До полночи от невидимого леса мимо деревни прошло до батальона рассеянной пехоты, проехали несколько всадников и три повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт: отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделением, и когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженых все было ясно...

В половине третьего из-за рва возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка!» – подумал Алексей, и с него мгновенно слетела та продрогло-цепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах.

Еще днем курсанты плотно утоптали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе, – тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все пятьдесят два человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее. Может, каски, а может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы – украдкой, через две-три хаты, и в окопах запахло хвоей, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом, и, стыдясь больно наворачившихся слез, он крикнул исступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал:

– Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!!

Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушиные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно, в сладком молодом потяге:

– Сейчас бы кваску покислей да... рукавичку потесней! А-ахх! – И вокруг озорно и сочувственно засмеялись.

За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик, – наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули: «Стой, кто идет?» От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке – один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх, и винтовку человек нес по-охотничьи, стволом в землю, и было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не останавливался и не отзывался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал:

– Ну во-от. Не шибко прилаживался, а хорошо попал. Пер, пер по этой вашей канаве, а тут гляжу – маковка церковная...

Он выглядел за сорок – возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним – до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе:

– Прикроешь шапкой – и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего...

– Перевязать надо, – морщась, сказал Алексей. – Чем это вас?

– Осколком. Как перепел: фпр – и ни его, ни уха. Даже не почуял.

Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и помкомвзвода спросил тогда:

– У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?

– Этого не знаю, брат, – ответил боец. – С начальством я знаком мало. А что?

– Товарищ генерал на полсуток пораньше тебя переправился тут, – баском сказал кто-то из курсантов.

– Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается, – назидательно рассудил боец. – Что ему: голова на плечах, шапка небось нахлобучена на оба уха...

– Он в красноармейской пилотке... и в шинели без петлиц, – опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе.

– Да ну? – бесстрастно, для вида, удивился раненый. И, помолчав, добавил: – Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит... Нас там хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось! Вот и блуждаем теперь... А он вроде того мужика – воз под горой лежит, зато вожжи в руках...

– Ну, вот что, нечего тут, – растерянно сказал Алексей. – Кончай разговоры. Всем по местам!

Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь разглядев кубари Алексея, начал было привставать с сумки, но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица.

– Тут горе вот какое, товарищ командир, – виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. – Ведь танку в лоб не проймешь такой поллитрой! Тут надо ждать, покуда она репицу свою подставит тебе... Мотор там у нее спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает – окопы распаханы, люди размяты... Что делать-то будем, а?

– Вы давайте в госпиталь! Это вон в том направлении, – строго сказал Алексей и зачем-то загородил собой нишу.

– А может, мне у вас остаться? – спросил боец. – Ухо мое и без докторов присохнет.

– Давайте в госпиталь! – повторил Алексей. – У нас вам оставаться нельзя. Мы... – и не сказал, что хотел. Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку.

– Ну что ж... Тогда пошли, кургузка, недалеко до Курска, семь верст отъехали, семьсот ехать! – стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа.

В девятом часу к четвертому взводу – тоже, видать, на церковную маковку – от леса петляюще и осторожно поползли два грязно-серых броневика. Еще на середине поля они немного разъехались в стороны, и к деревне беззвучно и медленно потянулись от них разноцветные фосфоресцирующие трассы. Пули воробьиной стаей прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов, – броневики на малых скоростях закружили на месте.

Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямылось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе как о людях, которых он знал или не знал – безразлично. Но какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? «Нет, сначала я сам. Надо все сперва самому...»

С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и второго броневика, и сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить – раз по одному броневика, раз – по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу.

И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза; они молча и спешно наполняли магазины патронами.

– Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант? – У помкомвзвода блестели зубы и трепетали ноздри.

– Сейчас нам капитан не так за это врежет, – сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета. – Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени.

– Ну и черт с ними! Пускай знают!

– Что «знают»? – невольно входя в роль капитана, спросил Алексей.

– А все! – вызывающе сказал помкомвзвода. – Подумаешь! Пускай знают! Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!

Алексей помолчал и сказал:

– Ну пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. Десятый час уже.

Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов – тихий сутуловатый человек с большими молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно, и всем становилось легче и веселее, когда он кончал политинформацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое бывшее мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением».

Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно:

– Ну что, Ястребов, не подбили?

Наверное, его мутило – сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участия. Виновато и сострадательно глядя в них, Алексей негромко сказал:

– Задымил один, товарищ политрук...

- Ага! Вы их бронейно-зажигательными?
- Наполовину с простыми. А первый, по-моему, задымил... Точно.
- Ну, пусть знают!

Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки – деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.

5

Погода испортилась внезапно. На окоп то и дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному – то мягко-заглушенно, то резко-отчетливо – далеко за кладбищем прослушивался налетный, волнами, громовой гул, и тогда каски округло и медленно поворачивались туда, вправо. Политрук все не уходил, а на завтрак был плов, и неплотно прикрытый котелок Алексея давно стоял в нише и остывал каким-то нестерпимо томительным духом. «Гуляев небось не постеснялся бы. У того хватило б смелости и при капитане пожрать, – обиженно подумал Алексей, – а это «значение» до вечера может сидеть тут. Что ему? У него катар!» Тогда Анисимов, все время клонивший ухо к низовому отдаленному грохоту справа, сказал: «Да!» Сказал убежденно и потерянно, как нечаянно открывший что-то ненужное, и в эту минуту высоко над церковью ломко и сочно разорвался пристрелочный снаряд. Неколебимо, как приклеенное, в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чоком образовались еще два дегтярных пятна.

– Это шрапнель? – спросил Алексей. Анисимов, стоявший рядом, трижды зачем-то хрумкнул кнопкой планшетки и не ответил: воздух пронизал тягучий, с каждым мигмом толстеющий вой, пересекший окоп и оборвавшийся где-то за коровником резко, облегченно, рассыпчато. И сразу же, еще над полем за рвом, возникли тонкие жала новых запевов. Как невидимая игла, звук сразу же впивался в темя, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделывать, чтоб не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все – мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины...

Через дворы и улицу линия взрывов медленно подвигалась ко рву. За гуляевским взводом большой ковылиной вырос и вверху пышно завился белый с желтыми прожилками дымный ствол. Из-под руки взглянув на него, Анисимов как-то отрешенно полез из окопа, но Алексей бессознательно-властно потянул его за хлястик назад. Они на мгновение встретились глазами, и, приседая на дно окопа – над ними близко взвыло, – Анисимов торопливо сказал:

– Хорошо. Я останусь с вами, но командовать будете вы. Прикажите убрать сверху винтовки. Покорежит ведь...

То было первое боевое распоряжение Алексея, и хотя этого совсем не требовалось, он побежал по окопу, отрывисто выкрикивая команду и глядя в курсантов – испытывают ли они при нем то облегчающее чувство безотчетной надежды, которое сам он ощущал от присутствия здесь старшего? Сразу же после его команды курсанты пружинисто садились на корточки спиной к внешней стене окопа, зажав между коленями винтовки, и, встречаясь с его взглядом, каждый улыбался растеряннo-смущенно, одними углами губ – точь-в-точь как это только что проделал Алексей под взглядом политрука.

Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца, и ни один осколок, казалось, не залетал в окоп вслепую, дуром, – до того как удариться в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружился вверху, будто прилаживался, куда сесть. Пробегая по окопу под гнетущим излетным воем мин, Алексей каждую из них считал «своей» и инстинктивно держался поближе к той

стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня... В меня! В меня!» Он знал, – а может, только хотел того, – что каждый курсант испытывает то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними.

На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей затормозил бег, оглядев узкий извилистый паз хода. По нему и еще по тем двум, что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. «Надо туда! Скорее туда!» Это не было решением. Это походило на внезапное открытие, когда в душу человека неожиданно врывается что-то радостно большое, живое и победное. Жарким, никогда собой несслыханным голосом Алексей пропел:

– Взво-о-од! Поодиночке-е...

Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и неизвестно к чему готовясь, и голосом уже иным – резким и испуганно-злым – Алексей крикнул: «Отставить!» – и побежал назад, к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. «Я скажу, что это не отступление! Мы же сразу вернемся, как только... Это ж не отступление, разве он не поймет?»

Но Алексей убеждал не политрука, а себя. Он твердо знал, что без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны. «Он подумает, что я... трус! Да-да! А если я уведу взвод без него, меня тогда...»

Впереди увязало-глухо, не по-своему, треснула мина, и в грудь Алексея упруго двинул горячий ком воздуха. Он упал на колени, и сразу же его поднял тягучий, в испуге и боли крик:

– Я-ястре-бо-ов!

Он побежал на голос, необыкновенно ясно видя и навсегда запоминая нелепо скорчившиеся фигурки курсантов, и когда сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лете, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его гипсово-белые руки, зажавшие пучки соломы.

– Отре-ежь... Ну, пожалуйста, отре-ежь... – Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался к Алексею, запрокинув непокрытую голову. Первое, что осознал Алексей, это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что отрезать у него нужно полы шинели – они всегда мешают ползти... Он вскопчил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова – на мокрой, полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого... «Это “они”»... – понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отворачивая глаза:

– Подожди тут! Подожди тут! Я сейчас...

Он бросился по окопу, не зная, куда бежит и что должен сделать, и тогда же окоп накрыло сразу несколькими минами. Еще до того как упасть, Алексей с ужасом отметил, что ему никто не встретился из курсантов. Увидав нишу, он пополз к ней, выкрикивая шепотом:

– Я сейчас! Сейчас!

Он почти полностью затиснулся в нишу, обхватил голову руками и зажмурился, и в темном грохоте и страхе в одну минуту понял все: и где находится взвод – «они сами ушли... по ходам сообщения», и зачем Анисимов просил отрезать «то» – «там у него была вся боль и смерть», и почему разрывы мин теперь слышались как из-под подушки – «огневой вал сполз в ров, сейчас все кончится».

К церкви он пошел по открытому месту, и, заметив его, из-за ее колонн и с кладбища к ходам сообщения побежали курсанты. Алексей остановился, ощущая в себе какую-то жестокую силу и желание пережить все сызнова.

– По местам! Бегом! – отчужденно и властно крикнул он. – И без моего приказа ни шагу!

Он уже знал, что и как ему делать с собой в случае нового обстрела, и знал, что прикончит любого, кто, как он сам, потеряет себя хоть на секунду...

Обстрел прекратился, как только несколько мин взорвалось за рвом. Над деревней пластом колыхался мутно-коричневый прах, и пахло гарью, чесноком и еще чем-то кисло-вонючим, липко оседавшим в гортани. Кроме политрука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых – все в спину – оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать.

– Дойти до КП могут? Где они? – спросил наконец Алексей.

– В коровнике. Лежачий только один... Воронков.

– Его надо отнести к санинструктору... И политрука тоже... Я пойду сам. А те трое пускай самостоятельно идут.

Он смотрел издали, как двое курсантов завертывали в плащ-палатку тело Анисимова, и смотрел только на их лица – курсанты отвернулись, когда сгребали вместе с соломой то, что было у ног убитого.

– Быстрее! – испуганно крикнул Алексей, злясь на себя, потому что к горлу опять подступил тошнотворный ком. Курсанты неумело взялись за концы плащ-палатки и долго вылезали из окопа, а наверху то и дело останавливались, менялись местами и переругивались шепотом. Идя шагах в пяти сзади, Алексей не знал, снять ему шапку или нет. Они вошли в улицу, когда в воздухе послышался знакомый ведьмин вой, и курсанты присели рядом с ношей, не выпуская ее из рук, но мины взорвались на огородах – начиналось все сначала.

– Куда теперь, товарищ лейтенант?

Курсанты выкрикнули это удивительно похожими голосами и разом. Алексей махнул рукой в сторону осин, и они побежали, волоча по земле ношу. Она шарахалась из стороны в сторону и шумела, и за ней стлался черный зигзагообразный след, и Алексей бежал по его обочине, зачем-то ступая на носки сапог. Стволы осин у сепараторного пункта светились белыми ранами. На крыльце валялись ветви и крошево стекла.

– Кладите туда, и за мной! – приказал Алексей и побежал назад – в окоп влекло, как в родной горящий дом.

Еще издали, часто припадая к земле, он слышал в паузах между взрывами беспорядочную ружейную стрельбу в своем взводе. «Что там такое? Неужели атака?» Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынно-дымным. «Куда они стреляют? В небо?»

Но курсанты били не вверх, а по горизонту.

– Прекрати-ить! Прекрати-ить! – на бегу закричал Алексей. Помощник с лету подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды.

Все повторялось с прежней расчетливой методичностью, огневой вал медленно катился ко рву. «Как только подойдет к улице, так мы... Я первым или последним? Наверно, надо первым... это ж все равно что при атаке... А может, последним? Как при временном отступлении?...» Алексей загодя набрал в легкие воздух, и когда разрывы взметнулись на улице и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он снова не своим голосом, но уже до конца командовал взводу поодионый побег из смерти... Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых, до блеска сточенных гвоздей на каблуках чьих-то сапог – они будто совсем не касались земли и взлетали выше зада бегущего. Он так и не понял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточки за церковью. И не узнал, кто бежал впереди. И не догадался, что это не икота, а загнанный куда-то в глубь живота ненужный слезный крик мешает ему что-нибудь сказать курсантам...

Алексей тоже закурил торопливо и молча протянутую кем-то папиросу. Спичку зажег прибежавший откуда-то помощник. Он выждал, пока Алексей затянулся, и проговорил все разом, без запинки:

– За коровником – бывший погреб, а может, другое что... ямка такая – под яблоней – они все там шестеро... Четверо допрежь раненных и двое, что я послал...

– Ну?

– Всех. Прямым. У Грекова полголовы, у Мирошника...

«Я не пойду... Не пойду! Зачем я там нужен? Пусть будет так... без меня. Ну что я теперь им...» Но он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть. Все видеть, что уже есть и что еще будет...

До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно бегал в свой тыл и возвращался в окоп.

– Попьют кофе и опять начнут, – сказал помкомвзвода, глядя через поле. Алексей промолчал.

– Я говорю, опять начнут! – повторил помощник.

– Ну и что? – отозвался Алексей, тоже вглядываясь через ров в невидимое селение.

– Что ж мы, так и будем мотаться туда-сюда?

– А ты думал как? И будешь! Один ты, что ли, мотаешься?

– В том-то и дело, что не один. В одиночку я согласен бегать тут хоть до победы. Лишь бы... Может, выбить его оттуда?

– Хреном ты его выбьешь? – бешено спросил Алексей. – Я, товарищ Будько, не прячу в кармане гаубичную батарею, ясно?

– У нас бронебойно-зажигательные патроны есть, – все тем же ровным, уныло-обиженным тоном сказал Будько и губы сложил трубочкой.

– Ты что, ополченец или будущий командир? Тут же верных четыре километра!

– А пуля летит семь!

– Ну вот что. Иди на свое место. Нашелся тут маршал... Давай вон лучше окоп исправлять, ясно? И выдели мне постоянного связного. Надо ж доложить капитану о политруке... А то подкинули во второй взвод и помалкиваем. Давай быстрей!

Будько пошел по окопу, но сразу же вернулся и, не глядя на Алексея, угрюмо спросил:

– Командира второго отделения Гвозденку хотите в связные? Ему как раз каску просадило...

– Так что? – удивился Алексей.

– Ничего. Волосья на макушке начисто сбрило. Голова у него трусится...

– Он же, наверно, контужен!

– Да не-е. Это у него от переживаний. Смеется там братва над ним...

Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты. Гвозденко понес его бегом, а во взвод тут же явился с большой парусиновой сумкой ротный санинструктор. Он сообщил, что в третьем, первом и втором взводах ранено восемь человек.

– А у вас богато?

– Убиты шестеро курсантов и политрук, – вызывающе ответил Алексей. – Раненых нет!

– Ага. Ну, значит, мне у вас нечего делать, – обрадовался санинструктор. – Я побегу. Сейчас, наверно, будем отправлять раненых...

Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему тылу, и его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью. «Танки накапливаются. КВ, может. Этим нам достаточно будет и четырех штук. Мы бы рванули тогда вперед километров на двадцать! Мы бы «их» пошшупали!...»

Он так и подумал: «Пошшупали» – и повторил это слово вслух.

6

Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседями.

Связной возвратился в восемь двадцать с устным распоряжением роте немедленно отступить.

Рюмин приказал курсанту описать внешность командира полка.

Курсант сказал, что он ростом с него, а по званию майор.

Рюмин видел, что связной говорит правду, – он был в штабе ополченского полка, но выполнять устный приказ неизвестного майора не мог.

С командиром первого взвода лейтенантом Клочковым Рюмин подтвердил свое донесение и запросы, и тот в восемь тридцать выехал в штаб полка на полуторке по прямой.

В восемь сорок в поле за рвом появились броневики – разведчики противника, неожиданно обстрелянные четвертым взводом, и в него отправился политрук Анисимов. Командование над первым взводом Рюмин принял сам.

В десять пятнадцать начался минометный налет.

В тринадцать ноль пять Рюмин получил донесение лейтенанта Ястребова о гибели Анисимова и шести курсантов.

Лейтенант Клочков все еще не возвращался из штаба полка.

В четырнадцать тридцать минометный обстрел возобновился, но уже без прежней системы и плотности.

Клочкова не было. В тылу ревели танковые моторы.

И Рюмин понял, что рота находится в окружении. Он был человеком стремительного действия, неспособным ожидать, таиться и выслеживать, оттого каждое поисковое положение, мгновенно рождавшееся в его мозгу, казалось главным, и в результате главным представлялось все, о чем бы он теперь ни думал.

Ему понадобилось не много времени, чтобы построить свои мысли в ряд и рассчитать их по порядку номеров. На первое место встала возможная танковая атака немцев с тыла. Рюмин мысленно немедленно отбил ее. Атака повторилась, и снова он увидел раздавленные сараи и хаты, уничтоженные танки и живых курсантов... Но он тут же спохватился и понял, что одним сердцем поражать танки курсантам будет трудно. В роте насчитывается двести двадцать винтовок. Есть свыше четырехсот противопехотных и полтора ста противотанковых гранат. И есть еще бутылки с бензином, но Рюмин не считал их оружием... «Атаки с тыла мы не выдержим, – думал Рюмин. – Паника сметет взводы в кучу, а танки раздавят...»

И у него осталась одна слепая надежда на то, что атака все-таки начнется из-за рва. Это было не только надеждой – это стало почти желанием, потому что Рюмин, как и все те десятки тысяч бойцов, что однажды попадали в окружение, устранился невидимого врага в своем тылу.

День истекал. Мины изредка перелетали через окопы и грохотно садились на огородах. Ни с тыла, ни с фронта ничто не предвещало атаки. Рюмину пришла мысль, что немцы, занимавшие село впереди, находятся на временном отдыхе. Иначе зачем бы они маскировали во дворах машины? Разведчики видели там автобусы. Что это, хозчасть? Мотомехполк? Батальон? Рота? А что, если броском вперед... И разгромить и выйти к лесу, а по нему на север и... Но обязательно разгромить! Курсанты должны поверить в свою силу, прежде чем узнать об окружении! А как же раненые? Их восемь человек. И уже семеро убитых...

В семнадцать часов обстрел кончился. Рюмин послал связного в четвертый взвод с приказанием подготовить братскую могилу. Он решил с наступлением темноты двигаться по рву на север, захватив раненых, и где-нибудь по болоту или по лесу выйти к своим...

...Хату никто не тушил, и к вечеру она истлела до основания. В середине пожарища непоколебимо устремленно, как паровик, нетронуто стояла черная русская печь с высокой красной трубой, и вокруг нее бродил пацан без шапки и что-то искал в золе. «Гвозди собирает!» – с яростной болью подумал Рюмин и оглянулся назад. Курсанты шли в ногу и все смотрели на пацана, и все же Рюмин не сдержался и свирепо скомандовал:

– Тверже шаг!

Мальчишка испуганно спрятал за спину руку, попятился к печке и прижался к ней.

На кладбище скапливались вечерние тени. Четвертый взвод полукругом неподвижно стоял поодаль широкой темной ямы, а перед нею полукругом лежали семеро убитых, завернутые в плащ-палатки. Рюмин вполголоса приказал роте построиться у могилы в каре и, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Откройте их.

Никто из курсантов не сдвинулся с места. Молча, взломав левую бровь, Рюмин осторожно повел глаза по строю, и Алексей понял, кого он ищет, и не стал ждать. Он подошел к мертвецам и, полузажмурясь, начал одной рукой развязывать концы плащ-палаток, и это же стал проделывать Рюмин, и тоже одной рукой. Они одновременно управились над шестью убитыми и разом подошли к седьмому. Это был курсант Мирошник. Он лежал лицом вниз, а в разрез шинели, между его ногами, торчмя просовывалась голая, по локоть оторванная рука. На ней светились и тикали большие кировские часы. Рюмин издал птичий писк горлом и выпрямился, враз поняв, что все, что он задумал с похоронами, – негодно для жизни, ибо, кроме отталкивающего ужаса смерти и тайного отчуждения к убитым, никто из курсантов – сам он тоже – не испытывает других чувств; у всех было пронзительное желание быстрее покончить тут, и каждый хотел сейчас же что-то делать, хотя бы просто двигаться и говорить. Тогда Рюмин и понял, что «со стороны» учиться мести невозможно. Это чувство само растет из сердца, как первая любовь у не знавших ее...

По тем же самым причинам – вблизи обращенные на него глаза живых – Рюмин не смог на кладбище сообщить роте ее истинное положение, и тогда же у него окончательно созрело и четко оформилось то подлинное, на его взгляд, боевое решение, путь к которому он искал весь день.

Уже в сумерках рота покинула кладбище и безымянную братскую могилу. У церкви Рюмин снова построил взводы в каре, и курсанты видели, что капитану очень не хватает сейчас стека.

– Товарищи кремлевцы! Утром мною получен приказ... – Рюмин замолчал и что-то подумал, кто-то еще боролся с ним и хотел одолеть, – приказ командования уничтожить мотомехбатальон противника, что находится впереди нас, и выйти в район Клина на соединение с полком, к которому мы приданы. Атакуем ночью. Огневой подготовки не будет. Раненых приказано оставить временно здесь. Их эвакуирует другая часть... По местам!

Курсанты заняли свои окопы. Минут десять спустя по селу метнулся горячий, с удавными перехватами щекочущий визг, и старшина сообщил взводам, что на ужин будет кулеш и бесхозная свинина.

Санинструктор нашел помещение под раненых.

– Главное, товарищ капитан, две пустые комнаты, – доложил он Рюмину. – А под ними какой-то двухэтажный подвал. БУ прямо... Только вам самим надо поговорить с хозяином.

Домик был старый, широкий, покрытый черепицей вперемежку с тесом и подсолнечными будыльями. Рюмин оглядел его издали. Ему не хотелось входить в него и видеть пустые комнаты и «БУ прямо». «Надо оставить у них не только винтовки, но и гранаты... И санинструктора». Тот стоял рядом рост в рост, и сумка съехала на живот, и верхний рожок у креста на ней оторвался, образовав букву «Т».

– Вы... москвич? – негромко спросил Рюмин.

- Не понял вас, товарищ капитан, – сказал санинструктор и поправил сумку.
- Можете готовить раненых к переводу. Я здесь договорюсь, – мягко сказал Рюмин.

На крыльце домика отрадно пахло моченым укропом. При тусклом каганце в сенцах возился над кадкой маленький старик в дубленом полушубке. Рюмин встал на пороге и поздоровался. Старик пощурился на него и незаметно выпустил из рук огурцы обратно в кадку. На вопрос Рюмина, он ли хозяин, старик сказал, что хозяин теперь всему война. «Наши раненые и санинструктор тоже должны знать это, – поспешно подумал Рюмин, – хозяин теперь всему война. Всему!» Но осматривать комнаты и БУ он не стал.

Старик ничему не противился. Он только спросил:

- А кормить раненых вы сами будете?
- Да, – сказал Рюмин. – С ними остается и наш доктор.
- А вы все... никак уходите?

У него были белесые тихие глаза, готовые смотреть на все и всему подчиняться, и Рюмин подумал, что, может, не следует к нему определять раненых. Погасив каганец, старик проводил Рюмина с крыльца и во дворе сказал:

- А взяли они вас, сынок, как Мартына с гулянья!

Рюмин снова неуверенно подумал, что, может, не следует оставлять в этом доме раненых.

– Мы вернемся через три дня! – вдруг таинственно сказал он, взглядываясь в стариковы глаза. – И тогда заплатим вам за помощь Красной Армии. Понимаете?

7

Выступление Рюмин назначил на два часа ночи, и с какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению и сколько бы там ни было немцев, они все до одного обрекались на смерть, потому что предоставить им плен в этих условиях курсанты не могли. Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только последовательно знал, но и видел в том обостренно резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение – стремительным броском вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спастись, заранее устрасясь. Нет. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим...

Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило смутное и несбыточное – дня не нужно было; вместо него могла бы сразу наступить новая ночь...

Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило и было яснее направление ветра – он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе, поднимая ноги, и в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейторски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шумно. Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта – своя тоже – вдруг предстала перед ним средоточием всего, чем может окончиться война для Родины – смертью или победой. Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал:

- Мы им покажем, на чем свинья хвост носит!

Рота двинулась вперед, и рядом с большим, тревожным и грозным в мозгу Рюмина цепко засела ненужная, до обиды ничтожная и назойливая, как комар, мысль: «А на чем она его носит? На чем?..»

Занятое немцами село рота обошла с юга и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре десять пять залпов по дво-

рам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, подтянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал – голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением – как на минной полосе, и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками.

Лес завиделся издали – темная кромка его обрисовывалась в белесовато-мутной мгле как провал земли, и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковато-крутой настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей то пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и, благодарный кому-то за то, что он не один тут, видел рассредоточенный строй курсантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури.

Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трехсот метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летуче запахло бензином – у кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колкие комочки двух «лимонок» в карманах шинели. Стрелки его наручных часов, казалось, навсегда остановились на цифрах 12 и 4. Село виделось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенелой тишиной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором – волновался – сказал: «Внимание!» – и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на спусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно на минуту раньше времени...

Этот первый залп получился удивительно стройным, как падение единого тела, и сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек. Остальным залпам не хватило слаженности – они хлестали село ударами как бы с продолговатым потягом, и Алексей не знал, это ли нужно капитану Рюмину.

После пятого залпа какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина затаенного ожидания, и все вокруг казалось угрожающе непрочным, опасным и зыбким. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки, и только тогда к лесу прикатился поспешно согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат. При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной, и он обещающим и виноватым голосом прокричал своему взводу:

– Сейчас побегут! Сейчас мы их!..

Бой в селе нарастал с каждой минутой. К размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих автоматов. Этот звук, рождавшийся и погасавший с какой-то подавлявшей волю машинной торопливостью, был в то же время игрушечно легок и ладен. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над тем, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны.

Когда в северной части села гулко и звонисто заработали крупнокалиберные пулеметы и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завывли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку...

Горел сарай. Поляну заливал красный мигающий свет. Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыж-

ками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать – невозможно, и четвертый взвод закричал, но не «ура» и не «за Сталина», а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села.

Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, а не командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками, он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом:

– Бутылками их! Бутылками!

Тогда же он услышал рядом с собой, за кучей хвороста, испуганно недоуменный крик:

– Отдай, проститутка! Кому говорю!!

Как в детстве камень с обрыва Устиньина лога, Алексей с силой швырнул в грузовики «лимонку» и прыгнул за кучу хвороста. Он не услышал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось и потому что из-за хвороста к нему задом пятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. Клонясь вперед, тот обеими руками намертво вцепился в ствол «СВТ», а штык по самую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прокричал: «Отдай!» – и рванул винтовку. В нелепом скачке немец упал на колени и, рывком насаживаясь на полуобнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул голову в каком-то иступленно страстном заклятье.

– Lassen sie es doch, Herr Offizier. Um Gottes willen!¹

Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро-пронзительном взрыве ярости и отвращения, которые он испытал к курсанту, разгадав чем-то тайным в себе темный смысл фразы поверженного немца.

– Стреляй скорей в него! Ну?! – стонуше крикнул он, и разом с глухим захлебным выстрелом ему явственно послышался противный мягкий звук, похожий на удар палкой по влажной земле.

Горело уже в разных концах села, и было светло как днем. Одуревшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочь забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской «новейшей» винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Эти чужие пулеметно-автоматные очереди вселенской веской силой каждый раз давили Алексея к земле, и ярой радостью – «Меня не убьют! Не убьют!» – хлестали его тело рассыпчато-колкие и гремуче-тугие взрывы курсантских «лимонок» и противотанковых гранат. Он все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал: взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл, и единственное, чего хотел, – это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом...

Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять: почему сапог, желтый, короткий, с широким раструбом голенища, стоял? Не лежал, не просто валялся, а стоял посередине двора? Сахарно-бело и невинно-жутко из него высовывалась тонкая, с округлой оконечностью кость. Он не разглядывал это, а лишь скользнул по сапогу краем глаз и понял все, кроме самого главного для него в ту минуту – почему сапог стоит?!

¹ Оставьте, господин офицер. Ради бога! (нем.)

Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного грузного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клеточно охнул, и его автомат зарокотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло книзу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, и стрелять Алексей не мог – для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться. Он как-то доверчиво сник и отяжелел и вдруг замычал и почти переломился в талии. Терпкий уксусный запах рвоты волной ударил Алексею в лицо. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец не упал, а как-то охоче рухнул бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Пятясь от него, Алексей бессознательно откинул полу шинели, чтобы увидеть зачем-то свои ноги. Пола шинели была тяжелой и мокрой. Что-то белесовато-розовое и жидкое налипало к голенищам и носкам сапог. «Это он... облевал», – со стыдом, обидой и гадливостью подумал Алексей. Внутренности его свились в клубок и больно подкатились к горлу, и он кинулся за амбар и притулился там у плетня в узком закоулке, заваленном вязанками картофельной ботвы...

Его рвало долго и мучительно. В промежутках приступов он все чаще и явственней различал голоса своих, – бой затихал. Обессиленный, смятый холодной внутренней дрожью, Алексей наконец встал и, шатаясь, пошел к убитому им немцу. «Я только посмотрю... Загляну в лицо, и все. Кто он? Какой?»

Немец лежал в прежней позе – без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе «по-живому» прилегли к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора. По улице, в свете пожаров, четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных, и те бежали старательно и послушно, тесной кучей, а курсанты каким-то лихо-стремительным подхватом держали перед собой немецкие автоматы, и кто-то один выкрикивал командно и не в шутку:

– Айн-цвай! Айн-цвай!

Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому, и, пристроясь к курсантам, спросил на бегу у того, что отсчитывал шаг:

– Куда вы их?

– В распоряжение лейтенанта Гуляева, товарищ лейтенант! – строго ответил курсант и властно повысил голос: – Айн-цвай! Айн-цвай!

Невольно ладя шаг под эту команду, Алексей побежал сзади курсантов, то и дело поворачивая голову влево и вправо – у плетней и заборов лежали знакомые серые бугорки. Курсанты повернули пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попа длинная узкая бочка в подтеках мазута, и над ней ревел и бился плотный столб красно-черного огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив в бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку ярко блестела лакированная кобура «парабеллума».

– Ну, Лешк! – закричал Гуляев, увидев Алексея. – В пух разнесли! Понимаешь? Вдрызг! Видал?!

Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь. И тут же он взглянул на пленных, но искоса, скользяще, и совсем другим голосом – невнятно, сквозь сжатые зубы – сказал окружавшим его курсантам:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.